

ГРАНИ

GRANI

80

1971

Postverlagsort: Frankfurt/Main, September 1971

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

**в Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:**

При подписке непосредственно из издательства — 26.— н.м.

**При подписке через представителей
и книжные магазины — 30.— н.м.**

**Цена в розничной продаже — 7.50 н.м.
(или эквивалент 7.50 н.м.).**

В США и Канаде:

**При подписке непосредственно из издательства
— 8.— ам. дол. При подписке через представителей
и книжные магазины — 10.— ам. дол.**

Цена в розничной продаже — 2.50 ам. дол.

**Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу**

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheldeweg 15

**или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.**

**Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.**

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXVI

№ 80

1971 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- А. СОЛЖЕНИЦЫН — Автобиография. Из цикла «Крохотки»: Старое ведро. Способ двигаться. Рассказы 3
- НАУМ КОРЖАВИН — Русской интеллигенции. Памяти Цветаевой. Можно строчки нанизывать... Вступление к поэме 1952 года. Стихи 10
- В. МАКСИМОВ — Четверг. Поздний свет. Повесть 15
- АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ-АГАТОВ — Из цикла «Сначала Колыма. Потом Мордовия». Стихи 103

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- ВЛАДИМИР ОСИПОВ — Площадь Маяковского, статья 70-ая 107
- ПРИЛОЖЕНИЕ: Биографии 137

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- * * * — Казнь Понтия Пилата (О романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита») 163

ПУБЛИЦИСТИКА

- Г. ПОМЕРАНЦ — Малые эссе: Счастье. Очень короткая философия. К теории зари. Коан. Бог и Ничто. Реабилитация чёрта 177
- ИВАН РУСЛАНОВ — Молодежь в русской истории. (Продолжение) 191

БИБЛИОГРАФИЯ

Аркадий Столыпин. Ошибочная историческая концепция Вас. Гроссмана. — Эммануил Райс. Н. Я. Мандельштам. Вос- поминания — Л. Ржевский. Труд огромный и нужный	216
Список книг, поступивших в редакцию	235
Обращение издательства «Посев»	239

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора, не
обязательно выражают мнение редакции.*

© 1971 Copyright by Possev-Verlag,
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»



А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Автобиография

Я родился в 1918 году, 11 декабря, в Кисловодске. Отец мой, студент филологического отделения Московского университета, не окончил курса, так как пошел добровольцем на войну 1914 года. Он стал артиллерийским офицером на германском фронте, провоевал всю войну, умер летом 1918 года, еще за полгода до моего рождения. Воспитывала меня мать. Она была машинисткой и стенографисткой в г. Ростове-на-Дону, где и прошли все мое детство и юность. Там я окончил в 1936 году среднюю школу. Еще с детства я испытывал никем не внушенное мне тяготение к писательству и писал много обычного юного вздора, в тридцатые годы делал попытку печататься, но нигде не были мои рукописи приняты.

Я намеревался получить литературное образование, но в Ростове не было такого, как я хотел, а уехать в Москву не позволяло одиночество и болезнь моей матери, да и наши скромные средства. Поэтому я поступил на математическое отделение Ростовского университета: к математике у меня были значительные способности, она мне легко давалась, но жизненного призвания в ней не было. Однако она сыграла благотворительную роль в моей судьбе, по крайней мере дважды она спасла мне жизнь: вероятно, я не пережил бы восьми лет лагерей, если бы как математика меня не взяли на четыре года на так называемую «шарашку»; и в ссылке

Автобиография А. И. Солженицына была впервые опубликована в стокгольмском «Ежегоднике Нобелевского Фонда» в 1971 г. — Р е д.

мне разрешили преподавать математику и физику, что облегчило жизнь и дало возможность заниматься писательской работой. Если бы я получил литературное образование, вряд ли я уцелел бы в своих испытаниях: я подвергался бы бóльшим ограничениям. Правда, позже я начинал и его: с 1939 и до 1941 года параллельно физмату учился также и на заочном отделении Московского института Истории-Философии-Литературы.

В 1941 году, за несколько дней до начала войны, я окончил физмат Ростовского университета. С начала ее, из-за ограничений по здоровью, я попал ездowym обоза и в нем провел зиму 1941-42 года, лишь потом, опять-таки благодаря математике, был переведен в артиллерийское училище и кончил его сокращенный курс к ноябрю 1942 года. С того момента я был назначен командиром разведывательной артиллерийской батареи и в этой должности непрерывно провоевал, не уходя с передовой, до моего ареста в феврале 1945 года. Произошло это в Восточной Пруссии, странным образом связанной с моей судьбой: еще в 1937 году, студентом первого курса, я избрал для описания «Самсоновскую катастрофу» 1914 года в Восточной Пруссии, изучал материалы по ней — а в 1945 году и своими ногами пришел в те места. (Как раз сейчас, осенью семидесятого, та книга, «Август четырнадцатого», окончена).

Арестован я был на основании цензурных извлечений из моей переписки со школьным другом в 1944-45 годах, главным образом за непочтительные высказывания о Сталине, хотя и упоминали мы его под псевдонимом. Дополнительным материалом «обвинения» послужили найденные у меня в полевой сумке наброски рассказов и рассуждений. Все же их не хватало для «суда», и в июле 1945 года я был «осужден» по широко принятой тогда системе — заочно, решением ОСО (Особого Совещания НКВД), к 8 годам лагерей. (Это считалось тогда смягченным приговором).

Приговор я отбывал сперва в исправительно-трудовых лагерях смешанного типа (описанного в пьесе «Олень и шалашовка»). Затем, в 1946 году, как математик был востребован оттуда в систему научно-исследовательских институтов МВД-МГБ и в таких «спецтюрьмах» («Круг первый») провел середину своего срока. В 1950 году был послан в новосозданные тогда особые лагеря для одних политических. В таком лагере в г. Экибастузе в Казахстане («Один день Ивана Денисовича») работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком. Там у меня развилась раковая опухоль, оперированная, но недолеченная (характер ее узнался лишь позже).

С передержкой на месяц после восьмилетнего срока пришло — без нового приговора и даже без «постановления ОСО», административное распоряжение: не освободить меня, а направить на вечную ссылку в Коктерек (юг Казахстана). Это не было особой мерой по отношению ко мне, а очень распространенным тогда приемом.

С марта 1953 года (5 марта, в день объявления смерти Сталина, я первый раз был выпущен из стен без конвоя) до июня 1956 года я отбывал эту ссылку. Здесь у меня быстро развился рак, и в конце 1953 года я был уже на рубеже смерти, лишенный способности есть, спать и отравленный ядами опухоли. Однако, отпущенный на лечение в Ташкент, я в тамошней раковой клинике был в течение 1954 года излечен. («Раковый корпус», «Правая кисть»).

Все годы ссылки я преподавал в сельской школе математику и физику и, при своей строго-одинокой жизни, тайком писал прозу (в лагере, на память, мог писать только стихи). Мне удалось ее сохранить и привезти с собой из ссылки в Европейскую часть страны, где я продолжал также заниматься внешне — преподаванием, тайно — писанием, сперва во Владимирской области («Матренин двор»), затем в Рязани.

Все годы, до 1961, я не только был *уверен*, что никогда при жизни не увижу в печати ни одной своей строки, но даже из близких знакомых почти никому не решался дать прочесть что-либо, боясь разглашения. Наконец, к сорока двум годам, такое тайное писательское положение стало меня очень тяготить. Главная тяжесть была в невозможности проверять свою работу на литературно развитых читателях. В 1961 году, после XXII съезда КПСС и речи Твардовского на нем, я решился открыться: предложить «Один день Ивана Денисовича». Такое самооткрытие казалось мне тогда — и не без основания — очень рискованным: оно могло привести к гибели всех моих рукописей и меня самого. Тогда-то обошлось счастливо: А. Т. Твардовскому, в ходе долгих усилий, удалось через год напечатать мою повесть. Но почти сразу же печатание моих вещей было остановлено, были задержаны и пьесы мои и (в 1964 г.) роман «В круге первом», в 1965 году он был изъят вместе с моим архивом давних лет — и в те месяцы мне казалось непростительной ошибкой, что я открыл прежде времени свою работу и так не доведу ее до конца.

Даже событий, уже происшедших с нами, мы почти никогда не можем оценить и осознать тотчас, по их следу, тем более непредсказуем и удивителен оказывается для нас ход событий грядущих.

Из цикла „Крохотки“

СТАРОЕ ВЕДРО

Ох да и тоскливо же бывшему фронтовику бродить по Картунскому бору! Какая-то земля здесь такая, что восемнадцатый год сохраняются — лишь чуть обвалились — не то что полосы траншей, не то что отдельные позиции пушечек, но отдельная стрелковая ячейка маленька, где неведомый Иван хоронил свое большое тело в измызганной короткой шинельке.

Бревна с блиндажных перекрытий за эти годы, конечно, растащили, а ямы остались ясные.

Хоть в этом самом бору я и не воевал, а рядом — в таком же... Хожу от блиндажа к блиндажу — сообщаю: где что могло быть? И вдруг у одного блиндажа, у выхода, наталкиваюсь на старое, восемнадцать лет лежалое, а и до этих восемнадцати уже отслужившее, ведро. Оно уж и тогда было худое, в первую военную зиму. Может, из деревни сторевшей подхватил его сообразительный солдатик, да стенки ко дну еще на конус снял и проложил его переходом от жестяной печки в трубу. Вот в этом самом блиндаже в ту тревожную зиму дней девяносто, а может, сто пятьдесят, когда фронт тут остановился, гнало худое ведро через себя дым. Оно накалялось шибко. От него руки грели, от него прикуривать можно было, и хлеб близ него подрумянивали. Сколько дыму через себя ведро пропустило, — столько и мыслей, высказанных и невысказанных, писем ненаписанных от людей уже, может быть, покойных давно.

Помещаемые здесь два рассказа А. Солженицына относятся к его циклу «Крохотки» см. «Г р а н и » № 56, 1964 г.). По-русски публикуются впервые. По-немецки рассказ «Старое ведро» вышел в Luchterhand-Verlag GmbH. Редакцией рассказы получены из России, где они распространяются в списках и магнитофонных лентах.

А потом как-нибудь утром, при веселом солнышке, боевой порядок меняли, блиндаж бросали. Командир торопил свою команду: «Ну, ну!» Ординарец печку порушил, втиснули всю на машину, и колена все, а худому ведру — места не нашлось. «Брось ты его, заразу! — старшина крикнул. — Там другое найдешь!»

Ехать было далеко, да и дело уже к весне поворачивало. Постоял ординарец с худым ведром, вздохнул и опустил его у входа. И все засмеялись.

С тех пор и бревна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик... А худое верное ведро так и осталось у своего блиндажа. Стою над ним, нахлынуло...

Ребята чистые, друзья фронтовые! Чем были живы мы? и на что надеялись? И самая дружба наша бескорыстная!.. Прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому ржавому забытому...

СПОСОБ ДВИГАТЬСЯ

Что был конь!.. Играющий выгнутой спиной, рубящий копытами, с разметанной гривой, с разумным горячим глазом.

Что был верблюд?.. Двугорбый лебедь, медлительный мудрец с усмешкой познания на круглых губах.

Что был даже черноморденький ишачок с его терпеливой твердостью, живыми ласковыми ушами...

А мы избрали вот это безобразнейшее из творений земли на шести резиновых быстрых лапах с мертвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным ящиком.

Оно не проржет о радости степи, о запахах трав, о любви к другой кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюет, плюет фиолетовым вонючим дымом.

Что ж! Каковы мы, — таков и наш способ двигаться.

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Вьюга воеет тончайшей свирелью,
И давно уложили детей...
Только Пушкин читает нозли
Вольнодумцам неясных мастей.
Бьют в ладоши и «браво». А вскоре
Ветер севера трупы качал.
С этих дней и пошло твое горе,
Твоя радость, тоска и печаль.
И пошло — сквозь снега и заносы,
По годам летних засух и гроз...
Сколько было великих вопросов,
Принимавшихся всеми всерьез?
Трижды ругана, трижды воспета,
Вечно в страсти, всегда на краю...
За твою неумеренность эту
Я, быть может, тебя и люблю.
Я могу вдруг упасть, заблудиться
И возвыситься, дух затая,
Потому что во мне будет биться
Беспокойная жилка твоя.

Эти стихи распространяются в России Самиздатом. Стихотворение «Кладбище в Риге», опубликованное в «Гранях» № 71, 1969, стр. 11, как безымянное, тоже принадлежит Н. Коржавину. При сверке его текста с вновь полученным было обнаружено два искажения; в строке «Всё он спутал. Но время не спутало тоже» следует читать: «Но время всё спутает тоже»; в строке «Спорят плиты, где выбиты звенья и даты» — вместо «звенья» должно быть «званья». — Р е д.

ПАМЯТИ ЦВЕТАЕВОЙ

*Поколение, где краше
Был, кто жарче страдал...*

Тут не шёпот гадалок,
Мол, конец уже близок —
Мартиролог, каталог
«Современных Записок».

Не с изгнанием свыкались,
Не страдали спесиво,
Просто так — задыхались
Вдалеке от России.

Гнев вопросов усталых —
Ах, когда ж это будет?!
Мартиролог, каталог
Задыхнувшихся судеб.

Среди пошлости сытой
И презренья к несчастью —
Мартиролог открытий,
Верных только отчасти.

Вера в разум средь ночи,
Где не лица, а рожи, —
Мартиролог пророчеств,
Подтвердившихся позже.

Не кормились — писали,
Не о муках, о деле;
Не спасались — спасали,
Как могли и умели.

Не себя возносили
И не горький свой опыт —
Были болью России
О закате Европы.

Не себя возносили,
Хоть открыли немало, —
Были знанием России,
А Россия не знала.

А Россия мечтала
И вокруг не глядела,
А Россия считала:
Это — плевое дело.

Шла в штыки, бедовала,
Как играла в игрушки.
И опять открывала,
Что на свете есть Пушкин.

**
*

Можно строчки нанизывать
Посложнее, попроще, —
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.

И какие бы взгляды вы
Ни старались выблёскивать, —
Генерал Милорадович
Не узнает Каховского.

Хоть на мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.

Мы не будем увенчаны.
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ 1952 ГОДА

Ни к чему,
 ни к чему,
 ни к чему полуночные бденья
И мечты,
 что проснешься
 в каком-нибудь веке другом.
Время?
 Время дано.
 Это не подлежит обсуждению,
Подлежишь обсуждению ты,
 разметавшийся в нем.
Ты не верь, что грядущее вскрикнет,
 всплеснувши руками:
«Вот какой тогда жил,
 да, бедняга, от века зачах».
Нету легких времен,
 и в людскую врезается память
Только тот,
 кто пронес
 эту тяжесть
 на смертных плечах.
Мне молчать надоело.
 Проходят тяжелые числа,
Страх тюрьмы
 и ошибок
 и скрытая тайна причин.
Перепутано всё.
 Все слова
 получили сто смыслов,

Только смысл существа
остается,
как прежде,
один.

Вот такими словами
начать бы
хорошую повесть,
И с тоски отупенья —
в широкую жизнь
переход...

Да, мы в Бога не верим,
но полностью
веруем в совесть,
В ту, что раньше Христа родилась
и не с нами умрет.

Если мелкие люди
ползут на поверхность
и дают,

Если шабаш
и мелких страстей
называется страсть,

Лучше встать и сказать,
даже если тебя обезглавят.

Лучше пасть самому,
чем душе твоей
в мизерность впасть.

Я не знаю,
что надо творить
для спасения века.

Не хочу оправданий;
снисхожденья к себе не прошу.

Чтобы жить и любить,
быть простым
и живым человеком,

Я иду на тяжелый
бессмысленный риск
и — пишу.

ЧЕТВЕРГ

Поздний свет

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуемая ниже повесть В. Максимова «Четверг. Поздний свет» — одна из шести частей, входящих в роман-эпопею «Семь дней творения». Третья часть — «Среда. Двор посреди неба» — опубликована как отдельная повесть в «Гр а н я х» № 64 в 1967 г. под названием «Дворник Лашков» и без имени автора. Роман «Семь дней творения» распространяется в России Самиздатом.

Автор романа — Владимир Емельянович Максимов — родился в Ленинграде в 1932 г. Воспитывался в детских колониях, окончил фабрично-заводскую школу, приобрел первую профессию — каменщика. Объездил всю Россию, работая на стройках. Одно время даже занимался розыском алмазов на Таймыре. С 1952 г., обосновавшись на Кубани, стал писать. Первый сборник стихов и поэм «Поколение на часах» вышел в 1956 г. Первая повесть «Мы обживаем землю» — в знаменитых «Тарусских страницах» в 1961 г. Известно, что Максимов одно время, как и многие его сверстники и братья по перу, был помещен в психиатрическую больницу, так что повесть «Четверг» в какой-то мере отражает его личный опыт.

Весь роман «Семь дней творения» посвящен не только судьбам людей и связанным с ними нравственно-духовным проблемам, но и судьбе самой России. Целиком, одной книгой (507 стр.), роман в ближайшем будущем выйдет в изд-ве «По-с е в».

I

Глядя в последний раз на слегка заснеженные московские улицы, Вадим даже представить себе не мог, что когда-нибудь он снова может вернуться сюда. Он считал этот свой путь до известной всякому москвичу Троицкой больницы — последней в своей жизни дорогой. Отсюда, издалека, печально знаменитая Столбовая виделась ему чем-то вроде склепа, из которого уже не было выхода. «Господи, — мысленно сетовал он, — за что мне все это, за какие такие грехи?!»

Машина вырвалась из загородного шоссе, мимо окон замелькали ловкие дачки-домики Подмосковья, рассеченные вдоль и поперек аккуратными грейдерами. Буйный, связанный по рукам и ногам парень, постепенно очухиваясь от наркотиков, натужно замычал, задергался, на искусанных губах выступила пена, а истерзанные видениями кроличьи глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

Эвакуатор — изжеванный жизнью и частым куревом мужичок в изрядно поношенной кожанке — лениво сплюнул себе под ноги и сказал квакающим голосом:

— Ишь ведь как его выворачивает! Давно такого не важивал. Видно, не жилец, раз в Троицкую.

И еще раз это его восклицание только лишний раз утвердило Вадима в горьком предположении: «Хана, тебе, Вадим Викторович, наверняка хана». Долгой ледяной жутью свело сердце, что-то там внутри него обморочно надломилось, и он скорее почувствовал, чем услышал себя, свой голос:

— Что, папаша, дрянь мое дело?

— А то как же? — Нет, он, этот жлоб в кожанке,

не дал ему, не подарил надежды, — думай, куда едешь. И закончил вразяжку, почти с наслаждением: — В Столбовую.

Больше Вадим и не пытался заговаривать. Какой смысл было ему расстраивать себя и свой ужас перед будущим. Он только мысленно, как бы вознаграждая себя за минутную слабость, длинно матерно выругался, добавив в конце к этому: «Сука, сука, сука!»

А тому — нет, не сиделось, не молчалось совсем, его прямо-таки выламывало сладострастным жлобским желанием мытарить и добивать ближнего:

— Раз лекарства не помогли, значит, туда. — И снова с наслаждением, только теперь с особым: — В Столбовую — я. Там таких навалом. Жрут, пьют, баб потребляют. Живи — не хочу! — В нем, в полом нутре жлоба все торжествовало, и гнилостный запах его зубов витал по фургону насквозь замороженного «рафика». — А я бы их своим манером. Что им небо коптить без пользы? В наше время техника на этот счет знаешь какая? Закачаешься! Любо-дорого! Один укол — и ваших нет...

Кажется, еще немного и Вадим бросился бы на него, но в это мгновение тот неожиданно щедрым жестом выбросил вперед себя едва початую пачку сигарет:

— Кури, мальй, а то совсем смерзнешь.

— Не курю. — Исступление сразу схлынуло. — Не привыкал.

— Не воевал, видно, молодой еще. — У жлоба в старой кожанке даже жеванное лицо его обмякло. — Бывало, лежишь в окопе, вша озверела, бабу хочется — в коленках ломит, а затынешься раз-другой, вроде ничего — жить можно. Ты в гражданке кем был?

— Артист.

— Смотри! — Кожанка уважительно заскрипела.

— Первый раз артиста эвакуирую. Надо полагать, родня сработала. — И хотя Вадим смолчал, тот по одному ему ведомым признакам понял, что угадал, и, радуясь своей догадливости, подобрел до предела. — Видно, на барахло позарились, опеку оформили, гадье.

— Да нет у меня никакого барахла!

— Тогда — интриги, — победно объявил эвакуатор, искоса определяя блудливым взглядом произведенный эффект. — Факт, интриги! Выходит, сидеть тебе, малый, в Троицкой — не пересидеть. Здесь у них, как пить дать, и врачи купленные...

Его явно заводило на речь длинную и не менее жлобскую, чем вначале, но в это время машину сильно потряхнуло и после этого не переставало трясти: асфальт кончился, за окнами потянулся проселок. Дома-дачи сменялись упитанными пятистенниками с телеантеннами над оцинкованной кровлей. Вялая позёмка медленно наматала вокруг них пузатенькие сугробы.

Патлатый снова замычал и задержался, изможденное лицо его потекло радужными пятнами, и Вадим, холодея, с отчетливым отчаяньем отметил про себя: «С такими попаду, тогда — лучше в петлю».

Эвакуатор, в свою очередь, неожиданно потускнел, заскучал быстрыми глазами куда-то в окно и неожиданно мастерски стал тихо высвистывать себе под нос «Хотят ли русские войны». И стало сразу видно, что жлобство его скорее от короткого ума и душевной лени, чем по свойству натуры, что человек он давно выпотрошенный жизнью да вдобавок еще и вывернутый после этого наизнанку, оттого и выглядит таким изжеванным и полым.

Жуть под сердцем Вадима притупилась или вернее вошла в постоянное, почти неощутимое состояние, и он обрел, наконец, способность к обычному житейскому

размышлению и стал размышлять, и все события последних дней начали выстраиваться перед ним в одну логическую цепь, в один взаимопроницаемый поток.

Еще в ту ночь, когда последний огонек Узловска исчез за срезом оконного проема и сырая ночь вплотную приникла к стеклу, он почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Встреча с родней, как она — эта встреча — рисовалась ему в воображении, должна была разомкнуть ту отчужденность, то душевное одиночество, в которые чуть не с младенческих ногтей заключила его судьба. Он надеялся, что через деда и тетку он войдет в прямое, кровное соприкосновение с внешней средой, соприкосновение, так недостававшее ему все эти годы.

Решаясь объявиться у Петра Васильевича, Вадим заранее предполагал возможность конфуза, мало того — готовился к нему. Оттого и осчастливил он деда, едва держась на ногах, оттого и нервничал, и куражился за столом, что видел, чувствовал — не получается сердечной завязки, и возникшее вдруг семейственное его с ними единение — только до порога. Им словно бы выпало существовать по двум противоположным сторонам некоего треугольника, встретившись в верхней точке которого у них уже не доставало ни сил, ни желания сколько-нибудь удерживаться на этой самой точке. Разумеется, можно было сделать еще одну попытку связать несвязуемое, но бессмысленность ее — этой попытки — представлялась ему настолько явной, что одна мысль о ней вызвала в нем болезненное томление и протест.

Почти всю сознательную жизнь Вадима окружали посторонние люди: посторонние друзья, посторонние приятельницы, затем посторонняя жена и ее посторонние родственники. Все они имели к нему какое-то отношение или касательство, и порою самое заинтересованное, но никто из них никогда не стал для него больше

чем просто другом, приятелем, женой, жениным родственником. Жизнь их текла сама по себе, никак непосредственно с его жизнью не сопрягалась.

До тридцати лет в суете и возбуждении актерской маяты Вадиму даже и задумываться по этому поводу не приходилось. Но однажды в тусклом номере гостиницы в Казани он, пробужденный тяжким и сумеречным похмельем, вдруг увидел себя со стороны маленьким, затерянным и жалким существом, до которого никому, ну вовсе никому на свете нет дела. И он, сжавшись, как бывало в детдоме, под одеялом в комок, заплакал, вернее даже не заплакал, а заскулил, словно брошенный по ненадобности щенок. Именно страх той казанской ночи и погнал Вадима к забытому было уже порогу, где его давным-давно никто не ждал и где он так и не изведаль облегчения. А дома в Москве Вадима ждала записка: «Я у мамы. Приедешь — позвони». И если раньше всякая очередная ее ложь вызывала в нем приступ бессильного гнева, то сейчас, мысленно восстановив их — жены и тещи — нехитрую систему взаимовыручки, он только брезгливо поморщился: «Дуры!»

Женился Вадим беззаботно и неожиданно для самого себя. Как-то в пьяном угаре и толкотне по разномастным компаниям перед ним обозначились влажные, миндального цвета и, как ему тогда показалось, единственные для него глаза. Утром, уткнувшись в его плечо, она сквозь судорожный плач умоляла не бросать ее хотя бы одно время, с тем, чтобы ей легче было объяснить матери свое первое ночное отсутствие. После недолгого сопротивления он сдался, подумав: «А почему бы и нет?» С тех пор слезы стали ее против него оружием. Слезы помогли ей заставить его зарегистрироваться с ней, слезами замаливала она свои более чем мимолетные измены, в слезах растворяла частые ссоры и обиды. Иногда Вадиму становилось невмоготу и он, решаясь, наконец, прощально складывал в чемодан самые необходимые для холостяцкого быта пожитки. Но

стоило ему взяться за ручку двери, как слезная истерика проникала его брезгливой жалостью, вынуждая беспомощно опускать руки и уныло сдаваться.

Вадим не мог ревновать жену, потому что никогда не любил ее. Его бесили только победительные улыбочки их общих приятелей и знакомцев, с которыми она флиртовала. Чаще всего — людей пустых и никчемных. И чем ничтожнее оказывался его очередной соперник, тем нещаднее клял Вадим свою слабохарактерность. Но после происходившего вслед за этим бурного объяснения все повторялось сначала.

Теперь же, небрежно, ребром ладони отодвинув записку жены в сторону, Вадим даже не затруднился вопросом, когда и с какой целью она — эта записка — здесь оставлена. Все, что стояло или могло стоять за ней — этой запиской, — виделось ему сейчас таким пустячным и малозначительным, что, едва вспомнив посещавшее его в подобных случаях удушливое исступление, он подивился своей столь острой в прошлом чувствительности: «Боже мой, какая, право, блажь все это!»

Сейчас ему казалось, что в сравнении с той головокружительной пустотой, какая заполняла его в эту минуту, с ее тошнотворным жжением и нестерпимостью, все на свете выглядело назойливо многословным и необязательным. Он чувствовал себя человеком, которому с грехом пополам, но удалось дойти по узенькой жердочке до самой середины пропасти, а двинуться дальше у него уже не хватает ни дыхания, ни воли. И поэтому все, что происходило в эту минуту по обоим от него сторонам, его уже не интересовало, не могло интересовать. Для того, чтобы погибнуть, ему надо было только посмотреть вниз, то есть в себя. И он не выдержал этого соблазна. И посмотрел.

Ах, как они легко, без сопротивления подались, эти чудо-клавиши газового божества!

Вадим лег на тахту, заложил руки под голову и блаженно опустил веки. Падение было не стремительным,

а почти парящим. Сначала он почувствовал легкий запах, может быть, чуточку приторный, затем восхитительное головокружение, словно в детстве в Сокольниках на карусели, и, наконец, блаженное забытие, как во хмелю, только гораздо полнее и удивительнее.

Первое, что он почувствовал, определив над собой больничный потолок, был стыд. Обморочный, удушливый, от которого его почти тошнило. Он было рванулся из своих пут, но, накрепко прибинтованный к койке, лишь вскрикнул от унижительного бессилия и уже больше не умолкал. Он кричал непрерывно целые сутки, кричал, заглушая собственную к себе брезгливость, а когда затих наконец, судьба его была решена: во всех входящих и исходящих он уже значился тяжелобольным.

И вот теперь его везли в санитарном «рафике» в загородную больницу, и желчный эвакуатор в кожанке насвистывал себе под нос: «Хотят ли русские войны». Он насвистывал этот мотив с таким остервенением, как будто впрямь хотел убедить кого-то невидимого в том, что — нет, не хотят.

Машина медленно взяла подъем, круто развернулась, и сквозь завесу заметно окрепшей метели Вадим увидел приземистое, казарменного вида здание, вокруг которого смутно угадывалось множество флигелей и пристроек. Забранные решетками бельма окон слепо вбирали в себя рассеянный свет вьюжного дня, не выпуская обратно в мир ни звука, ни проблеска.

— Дома, мальи! — сразу же ожил и засуетился эвакуатор, — вылезай. Сдам тебя по документу и ступай себе в палату, заваливайся на боковую. Ешь да спи, вот и вся теперь твоя работа. Ах, завидки берут! — И ясно было — не врал, действительно завидовал, даже раскраснелся слегка от умиления перед такой перспективой. — Нет, ей-Богу! А теперь топай поперед меня. Этого, — он коротко кивнул через плечо, — потом сами возьмут.

В приемном покое эвакуатор во всем выказывал себя своим здесь человеком, по-хозяйски расхаживал из одной комнаты в другую, собственным треугольником открывая и закрывая дверь, шумно со всеми здоровался, а когда получил, наконец, сдаточную расписку, даже расчувствовался перед Вадимом:

— Эх, малый, жизнь наша бекова! Солдат лежит — служба идет. Где ни жить, лишь бы с хлебом. Какие твои годы! — Он снисходительно пожевал дряблыми губами и сыпанул еще от полноты сердца. — Как говорится, от сумы, от тюрьмы! Где наша не пропадала! Век живи, век учись, а помрешь дураком! Кто не был, тот побудет, а кто был, тот хрен забудет! В общем, как в песне поется: «Приди, приди ко мне, свобода золотая, я обогрею тебя ласковой душой»!

Он выхватил было из кармана сигареты, но, видно, вспомнив, что Вадим не курит, сунул их обратно, отчаянным манером махнул рукой, бодренько засеменил к выходу и вышел, и обитая войлоком дверь мягонько зашлепнулась за ним. Последняя ниточка, хоть и призрачно, но связывавшая Вадима с тем миром, оборвалась и он остался наедине с этим.

Когда Вадима ввели в ординаторскую, врач, занятый изучением его истории, не поворачиваясь к нему, молча кивнул на стул, стоявший чуть поодаль от стола, продолжая в то же время заниматься своим делом. Птичий профиль его смуглого лица, четко выделяясь на фоне оконной белизны, только подчеркивал вьюжную бесприютность январского дня.

Чтение чужой жизни, видно, доставляло ему большое удовольствие: просмотрев очередную страницу, он снова и снова возвращался к ней, то и дело поклевывая авторучкой лежащий сбоку от него раскрытый блокнотик, и при этом все похмыкивал, все покашливал задумчиво и со значением. Наконец, он захлопнул скоросшиватель, бережно, предварительно погладив, отодвинул дело в сторону и, повернувшись к Вадиму, лас-

ково отрекомендовался:

— Меня зовут Петр Петрович.

— Лашков, — Вадим поперхнулся: уж слишком необыкновенным оказалось у доктора лицо: узкое, усеченное к носу, с широко и косо расставленными глазами, оно позволяло ему, и не поворачиваясь, наблюдать собеседника, — Вадим Викторыч...

— Так, Вадим Викторович, так. — Тот говорил тихо, вкрадчиво, как бы заранее предполагая в пациенте человека тяжело больного и опасного и тем самым давая понять, что лично он, Петр Петрович, готов к любым неожиданностям. — Весьма рад с вами познакомиться, Вадим Викторович.

Но по мере того как в разговоре выяснялось, что перед ним человеческая особь в твердом уме и ясной памяти, птичье око доктора тускнело, речь обесцвечивалась, движения становились вялыми и машинальными. Резкое лицо его принимало все более обиженное выражение. Он словно бы искренне скорбел за всю московскую психиатрию, которая подсунула ему вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий.

В конце концов, откровенно пренебрегая объяснениями пациента, доктор жалобно отнесся в сторону двери.

— Нюра!

В проеме двери в смежную комнату тотчас выросла высокая костистая старуха в подшитых валенках и, не говоря ни слова, решительно двинулась на Вадима, повелительным кивком подняла его и, открыв своим ключом дверь перед ним, легонько вытолкнула в палату.

II

Только сейчас, после вчерашней приемочной суеты и полугорячего сна на новом месте, Вадим как сле-

дует осмотрелся. Отделение представляло собой широкий коридор, по обеим сторонам которого располагались низкие сводчатые палаты. От коридора их отделяла массивная, квадратной формы колоннада, так что сообщение между ними было полным и постоянным. Одна из палат, приспособленная под столовую, считалась общедоступной, и здесь, в перерывах между едой, шумно колготило нечто вроде клуба: резались во все настольные, обсуждали перспективы на выписку, мимоходом решая вопросы внутреннего и планетарного порядка.

Вадим потолкался было в общем гомоне, но, видно, еще не принятый вполне за своего, не нашел собеседника, а потому уж через минуту повернул к себе, без особого, впрочем, огорчения или обиды. Сосед Вадима по койке — черный, стриженный наголо парень, с резко выдвинутым вперед тяжелым подбородком — поднял на него влажные, цвета сосновой смолы глаза, добродушно улыбнувшись ему, и снова уткнулся в клеенчатую тетрадку, которую заполнял быстрым и мелким почерком.

Стоило Вадиму лечь и закрыть глаза, как гулкие видения недавнего прошлого обступали его со всех сторон. То грезилось, будто собирает он бригаду от Якутской филармонии, а Власов отказывает ему в красной строке, то являлась вдруг теща Александра Яковлевна, которая, по своему обыкновению, обвиняла его во всех смертных грехах, кстати и некстати поминая о загубленной жизни дочери, то садился у него в ногах дед Петр и с молчаливой укоризной покачивал головой, глядя на непутевого внука...

— Слушай сюда, паря, — кто-то бесцеремонно расталкивал его. — Проснись, землячок!..

Размытое сонным пробуждением, перед Вадимом выявилось лицо. Лицо все более и более определялось, а определившись уже совершенно, оказалось себя улыбчивым удивлением: что, мол, не узнаешь, брат? Все обличье сидевшего напротив Вадима человека обозначало

в нем индивида дотошного и в жизни весьма и весьма поднаторевшего. Действительно, где бы ты ни встретил такого: на корабельной палубе, у автовокзала или перед случайным пульманом, — сразу и безошибочно определишь принадлежность его к беспокойному и отчаянно-му племени бродяг. Прежде всего, людей, подобных ему, отличает эдакая внутренняя взбудораженность, эдакое порывистое возбуждение, которое сообщает их облику выражение неуверенности и бесшабашия одновременно. Они словно бы катятся с горы, но спуск этот, захватывающий сам по себе, стекает в плотный и всегда обманчивый для них туман, а что там — за этим туманом, не знает даже и сам бес, толкающий их с этой горы. И вот с этим самым вопросом — пан или пропал? — в оголтевших от сомнений глазах они и мечутся у всех, какие только есть, дорóг нашего никем не мерянного и не считанного отечества. И куда ни закинь его, в любую Тмутаракань, в медвежий угол любой, в пески, где и верблюд считает себя ссильным, он — наш бедолага — семью кровями-потоми изойдет, а все-таки отвоюет себе место под солнцем. Отвоюет и уйдет. Уйдет, потому что им уже властно овладела мысль, что есть места лучше этого, где его, и это наверняка, ждет действительно достойная жизнь. Вот и носит такого до седых волос по свету — из конца в конец долгой страны — в поисках все лучшей и лучшей доли. А где она — эта его доля — ведомо, видно, одному Господу Богу.

И сейчас, при взгляде на неожиданного собеседника, в памяти Вадима, из-под наслоений множества лиц и голосов, стало четко проступать это широкое бровастое лицо, а первые сказанные им слова только закрепили вдруг возникшее воспоминание.

.

Когда, после часовой толкотни у кассового окошка, Вадим вернулся в общежитие, там уже стоял дым коромыслом: штукатуры и маляры пропивали аванс. Митяй

Телегин — щербатый мужик в синей сатиновой рубаше нараспашку, — поигрывая по сторонам свирепыми бровями, с усилием одолевал пьяное разноголосье:

— ...Прихожу, говорю: «Я тебе любой колер наведу. Хочешь — клеевую, хочешь — масляную, хочешь — под дуб разделаю за милую душу. В штукатурке опять же промашки не дам... Оборудую так, что пальчики облизнешь. Что же ты, говорю, сукин сын, меня на земляных держишь, распахнутая душе не даешь?» А он мне говорит: «А ты, — говорит, — сто пятьдесят целковых подъемного харчу получил? Получил. Вот и отработывай, — говорит, — где поставлен. Эдак вы все, — говорит, — начнете выкобениваться, так я не токмо что план, а по миру пойду».

Он пошарил тоскующими глазами вокруг, ища сочувствия, но, занятые своими разговорами, все слушали его вполуха. Маляр безнадежно махнул рукой — чего, мол, с вами зря и язык чесать? — и пошел между койками к двери, истошно выкрикивая на ходу:

— Вербовщик, гаденыш, золотые горы сулил, а вышло по семь бумаг на рыло и — крышка!.. Поди-ка выкинь шесть кубиков, взвоешь!.. Вот-те и заработки!.. А из деревни пишут: крыша текет! А чем я ее зала таю? портками?.. Куда как нехорошо получается...

Митяй, петляя, шел к выходу, а из другого конца барака, где обособилось несколько коек бывших лагерников, вслед ему нестройный хор разухабисто горланил на мотив «Две гитары за стеной жалобно заныли...»:

Дядя Ваня на гармони,
На гармони заиграл.
Заиграл в запретной зоне —
Застрелили наповал.

О покое в ту ночь нечего было и думать. Вадим вышел, постоял у порога, оглядываясь вокруг, а затем решительно двинулся в поле: стройка газового завода с выдвинутыми вперед, наподобие аванпостов, общежи-

тейскими бараками вплотную примыкала к артельным угожьям. Оттуда тянуло улежавшимся сеном и полынью. Запахи еще не тронутой скреперами земли сами оберегали свою неистребимость от асфальтовой гари и известковой горечи стройки.

Уткнувшись головой в первую же копну, Вадим словно окунулся в другой, совсем недавно потерянный им мир. Его, выросшего в отдельной неприютности башкирского юга, угнетала здешняя скученность дорог, строений, людей, вызывавшая в нем непонятную ему самому раздражительность, даже озлобление. Там — в детдоме, а потом в ФЗО он представлял себе свою будущую самостоятельную жизнь иной, никак не похожей на эту. По рассказам бывалых погодков здешние места рисовались Вадиму землей обетованной, где перед гостем из-за Урала открывается миллион возможностей стряхнуть с себя, как дурной сон, опостылевшее однообразие степи. Но действительность в два счета развеяла его иллюзии. Попав на строительство завода, он оказался среди людей, съехавшихся сюда чуть ли не со всех концов страны и не связанных между собой ничем, кроме желания заработать на обратную дорогу. Профессия в договоре не указывалась — оргнабору это было невыгодно: вербованный мог потребовать работу по специальности — и Вадиму, с его пятым разрядом, едва-едва посчастливилось устроиться подсобным штукату-ра. Так что, при всей его трезвости, ему редко выпадало сводить концы с концами. Но, по правде говоря, его удручало не столько безденежье, — разносолами на коротком своем веку он не был избалован, — сколько эта вот ожесточающая душу сутолока, которая день ото дня затягивала его в свой оголтелый круговорот, не давая опомниться и хоть как-то определить себя в окружающем. И сейчас, лежа у копны июльского сена, Вадим со сладостной истомой вспоминал когда-то без сожаления брошенную им зябкую башкирскую степь с ее блеклыми тонами и коротким летом. И то, что рань-

ше казалось ему скучным и постылым — долгие зимние ночи, стылые ветры по осени, безлюдье — выглядело теперь вещим, мудрым, исполненным значения...

Где-то совсем рядом зашуршала трава.

— Кто тут живой отсыпается? — Не поворачивая головы, Вадим по голосу узнал Телегина. — Принимай в канпанию!.. Никак ты, Вадька.

Вадим не ответил: сейчас ему его одиночество было дороже телегинского соседства. Но тот все же сел рядом, зажег спичку, затанулся.

— Эх, ведь какая благодать кругом. — Речь его лилась трезво и благостно. — Хлеба хрустят, тварь всякая стрекочет, земля в духу покоится... И середь всего этого пьяный человек, навроде дерьма, шалается, святое место поганит... Так все в нутрях и переворачивается. Материться и то — лень... В деревню бы сейчас. Да по ранней зорьке, кваском опохмелившись, косу на плечи...

— И очень просто.

— Просто! А в пачпорте кирпичик: завербован. Вот и сунься с этой печаткой к председателю. Мигом в райотдел отправит.

— Не лез бы. — Вадим грубил намеренно, думал, может, отстанет. — Все рубля подлиннее ищите.

— Да мне, друг-человек, — Телегин сразу заерзал на месте, заволновался, — чтоб половину дырок залатать, рупь с версту нужен. Не напечатали еще такого. А только и дома сидеть никакого резону нет. На трудодень обещанками платят, одна кормежка что с усадьбы. Много ли с нее прокорму? Вот и разбредается мужик хоть малую деньгу зашибить... Да и деньга-то, ведь сказать, стыд один...

— Пьете вы все.

— Ты вот не пьешь, много ль в сберкассе скопил?.. То-то... Пропивай, не пропивай, — все одно в кармане шиш. Так хочь душу повеселить.

— Ничего себе веселье. В прошлую получку троих скорая помощь увезла.

— Усталый народ, — примирительно вздохнул Митяй. — Выпьет, злость — наружу. Вот и режутся... С непривычки оно, конечно, в диковинку... Сам-то ты откуда?

— Из Башкирии...

— Ишь ты, в какую даль забрался! Степя там у вас?

— Степя, — в тон ему ответил Вадим и еще раз повторил уже мягче, — степя.

— И ночь, говорят, длинная?

— И ночь... И день...

— Скота много... Опять же — нефтя.

— Хватает.

— Чудно!

— Чего ж?

— Уж больно Рассея велика. У нас вот — в Тульской области, зайца встретить — редкость... Рыба и та вышла. Стребили. Всю как есть. Так, дурочка иногда попадает, а чтоб по-настоящему — ни в жисть.

— Соскучился, возьми билет и дуй к нам. Там этого добра пропасть.

— Туда одна дорога во что обойдется, все спусти — не хватит. И опять же от дома далеко... Ребята у меня... Шестеро. — И определил мечтательно. — А ничего бы...

Этим своим «ничего бы» Телегин словно приобщил себя к сегодняшней его тоске, вызвав тем самым в нем чувство ответного сочувствия:

— У нас там широко. Сто километров, вроде, как здесь один пролет поездом.

— Ишь ты...

— И народ широкий... Добрый народ...

— Смотри-ка...

— И тишина кругом...

— Дела-а...

И сейчас, будто продолжая их тогдашний разговор, Митяй восторженно мотнул сивой головой:

— Дела-а... А я и смотрю, быдто знакомый... Ить сколько годов, а признал! — Он по-ребячьи радовался встрече, возбужденно ерзая по соседской койке, то и дело подталкивая того локтем, стараясь и его приобщить к своему торжеству. — Не всю, значит, память я пропил, осталось чуток!.. Эх, так и текет жись без передыху... А меня поваляло-потрепало, да... Как отбилс я тогда от деревни, так досё и замеряю Союз подошвой вдоль и поперек... Жена еще до реформы денежной померла, дети попереженились да и поразъехались кто куда, ищи их теперь... Да и ни к чему, все одно забыли... А я из вербовки в вербовку, как из ярма в ярмо... А сюда, — от напряженного смущения у него даже пот на лбу выступил, — я по пьяному делу попал... Зашибил я, понимаешь, хорошую деньгу в Тюмени на нефтях, ну и гульнул здесь проездом по буфету... Ну и задел одного ненароком... Слыхал Тюмень-то? — Телегин намеренно переводил разговор в другое русло. — На подсобке и то по триста гребут...

Года два тому, прельстившись шальным заработком и красной строкой в афише, Вадим мотался со случайной бригадой по заиртышским болотам, озаренным факелами газовых фонтанов. Деревянные коробки поселковых клубов распирало гремучей матерщиной и хмельным перегаром, в грязных и холодных гостиницах круглые сутки стоял дым коромыслом, а дорога всякий раз прокладывалась наново. Так что после, на отдыхе в Крыму, при одном воспоминании об этой гастрولي, его пронзительно и зябко передергивало. И поэтому теперь, слушая телегинские байки о тамошних кисельных берегах, Вадим про себя безошибочно определил, во что обошлось тому его похмельное ожесточение: «Как он еще там, в аду этом, совсем не озверел, разговаривать не разучился?»

Они проговорили до самого обеда, вернее говорил один Телегин, а Вадим только слушал, но, слушая, он живо соучаствовал в монологе Митяя и, наверное, поэтому ему казалось, что и сам он не умолкает ни на минуту.

Когда Телегин ушел, молчавший до сих пор и занятый делом сосед оторвался от своей тетрадки, сунул ее под подушку и, вставая, протянул Вадиму сухую волосатую руку:

— Марк. Крепс. Режиссер. Пошли обедать.

Высказанное соседом с такой веселой краткостью дружелюбие мгновенно обезоружило Вадима, проникнув его к новому знакомцу ответным доверием и приятностью: «Чудак, вроде, но славный, светится весь».

III

В преддверии уборной тяжелыми пластами плавал табачный дым, сквозь который едва проглядывали смутные лица. Курить Вадим начал неожиданно для самого себя. Как-то, машинально взял протянутую Марком сигарету, неуверенно затянулся, а спохватившись, решил выдержать характер и докурить до конца. С тех пор он стал постоянным обитателем клозетного предбанника. Дымил он почти непрерывно, с каким-то сладострастным остервенением, словно стремился наверстать все недокуренное за предыдущие тридцать пять лет. Дым сообщал ему чувство горького успокоения, и действительность после каждой затяжки выглядела менее пустой и беспросветной.

Рядом с ним, тихо одуряя себя лежалым «Прибоем», два старика торговали друг у друга пальто. Пальто существовало там — в том мире и, судя по всему, ни одному из них не суждено было его носить, но, убежденные в скором освобождении, они отстаивали каждый свою выгоду с предельной отдачей.

— Оно у меня на ватине, довоенном еще. — Сизые

щеточки бровей над вылинявшими глазами многозначительно сдвигались к переносице. — Еще лет двадцать пронесишь. Ты, главное, садись на одиннадцатый номер и прямо до Черкизова, а там Гавриков проезд спросишь. Дом четыре. Во дворе меня всякий знает. Тебе за шестьдесят пять отдам, дешевле грибов. Не прогадаешь.

— Это еще посмотреть надо. Шесть с половиной бумаг большие деньги! За шесть-то с половиной нынче и новое можно купить любо-дорого. Скажешь тоже, шесть с половиной! Бери шесть и не мерзни. К тебе добираться, — не меньше рубля изведешь...

В забеленном до самой фрамуги стекле перед Вадимом неожиданно проявилось тихое лицо Крепса:

— Дымишь?

— Не спится.

За те немногие недели, что Вадим провел здесь, он узнал о Крепсе все или почти все. Из театра, где он безуспешно пытался ставить, что ему хотелось и как хотелось, его, после очередного выступления в Управлении, отправили на экспертизу, откуда он уже обратно не возвратился. И то грустное недоумение, с каким бывший режиссер воспринимал все случившееся с ним, — недоумение перед непробиваемой людской глупостью — вызывало у Вадима по отношению к нему чувство бережного покровительства.

— Все думаешь? — засветился он в грустно мерцавшие сквозь дым глаза Крепса. — Химеры одолевают?

— Уж так мы устроены, Вадя, — крупный профиль Марка четко обозначился на матово блистающем стекле, — нам нельзя не думать. Мыслящая оболочка нашего мозга очень тонка, а там — под ней — бездна. Стоит человеку хотя бы на мгновение перестать думать, прервать цепь размышлений, пусть самых пустяковых, и сознание устремляется сквозь этот разрыв в бездну. Так начинается сумасшествие. Но такое случается редко. Спасительный инстинкт самосохранения не позволяет нам прерваться. И мы мыслим. Неважно, о чем. О тео-

рии относительности или премиальных. Главное, не прерваться. Спасение — в непрерывности.

— О чем ты все пишешь, Марк? Если не секрет, конечно...

— О значении врожденного чувства вины в человеке.

— А если яснее?

— Как бы это тебе объяснить, Вадя... Когда в детстве меня в первый раз приняли за еврея, я пришел домой и спросил у отца: «Разве я еврей?» Он ответил: «Да, мой мальчик. Ты — еврей». Но я-то знал, знал доподлинно, что отец мой чистокровный немец, а мать армянка. И когда через много лет я спросил его, зачем ему это было нужно, он сказал мне примерно следующее: «Ты должен был пройти через это, чтобы стать человеком. Человеком, понимаешь?» И я понял, понял навсегда, что пока в тебе живо чувство личной вины перед другими, из тебя невозможно сделать поросенка... Вот приблизительно то, чем занимаюсь я в своих записках. Но это — популярно... Попробуем заснуть, Вадя, может быть, получится?..

— Покурю...

— Смотри...

Вадим завидовал Крепсу и таким, как Крепс. Встречаясь с людьми наподобие Марка, он завидовал их внутренней чистоте, их вере в разумность всего происходящего, их вѣщей целеустремленности, то есть всему тому, чего с некоторых пор стало недоставать самому Вадиму. После хмельной суматохи молодости к нему вдруг пришло возрастное похмелье, и Вадим увидел себя со стороны тем, чем он и был на самом деле: заштатным эстрадником тридцати пяти утяжеленных разгулом лет. Его сокурсники по театральному училищу уже занимали положение в громких труппах, блистали званиями и успехом, а он все еще мотался по стране со случайными бригадами в погоне за шальными деньгами, откладывая серьезную работу на потом. Но теперь-то Вадим

определенно знал, что это самое «потом» обошло его стороной, что ему ничего не удастся переиначить в своей судьбе и что, наконец, занимался он до сих пор совсем чужим для себя делом.

— Что, не спится? — Вадим знал, что устойчивая бессонница вконец изводила Крепса, и поэтому всякий раз проникался его мукой. — Покури, может, заснешь.

— Бесполезно...

— Пробовал?

— Не помогает.

— Все хочу спросить, — ровное дружелюбие Марка настраивало на откровенность, — только без трепа.

— Попытаюсь.

— Если бы тебе дали театр, ты бы взял меня?

— Хочешь правду?

— Валяй!

— Нет, не взял бы.

— Спасибо за откровенность... Вот и договорились.

— Видишь ли, — Крепс легонько кончиками пальцев коснулся его плеча, как бы извиняясь за невольную свою откровенность, — ты слишком жалеешь себя. В моем театре, — он со значением выделил это самое «в моем», — актер должен будет жалеть других, себя же в последнюю очередь... Скорее даже совсем не будет... Цель искусства, наверное, все-таки самоотдача, а не самоутверждение... Ты, Вадя, наверное, первоклассный актер в общепринятом смысле... Но мне понадобятся не столько актеры, сколько мыслители, даже страдальцы...

— Так научи!

— Этому нельзя научить, это или приходит само по себе или не приходит вообще.

— Что же нужно сделать для того, чтобы это пришло?

— Нужно успокоиться.

— У меня нет времени.

— Время здесь не при чем.

— Что же — «при чем»?

— Наверное, сердце.

— Ему тоже некогда.

— Тогда не жалуйся.

— Иди ты к чёрту...

— За все надо платить, Вадя. Ты хочешь даровых откровений, а за них надо платить и часто — всем. Одно из двух: или магический кристалл, или счет в сберкассе. Сочетание исключено. Прости, но ты сам...

— Валяй, валяй...

Он великодушно покивал, чувствуя, как снисходительное безразличие уступает в нем место острой, но еще необъяснимой для него горечи...

— Но в тебе есть немалая толика прекрасного самодетства. И это тебя в конце концов спасет.

— Поздно... Мне уже тридцать пять.

— Самоеды, вроде тебя, до старости — дети. Считай, что ты в любую минуту можешь начать все заново.

— И жизнь?

— Разумеется! Можно просуществовать век, в котором не наберется и года жизни, и можно прожить год, который вберет в себе целый век... От суеты только надо отряхнуться, от душевной праздности...

— Как?

— Здесь советовать — пустое дело. Каждый приходит в себя по-разному.

— Вот ты, к примеру?

— Видишь ли, Вадя, есть такая коротенькая притча: Шли двое по лесу. Долго шли. Наконец, один не выдержал: «Заблудились», — кричит. Другой успокаивает: «Пошли дальше. Я дорогу знаю, выведу». Первый поверил и пошел. Шли они шли, но все-таки выбрались. Тогда первый и спрашивает: «Коли ты дорогу знал, что же мы так долго плутали?» А другой ему отвечает: «Важно не дорогу знать, а идти».

— Выходит, и ты не знаешь?

В смущении улыбка Крепса казалась еще более искательной и виноватой:

— Нет, Вадя, не знаю... Иди, — вот и все, что я могу тебе посоветовать...

— Из моего леса нет выхода.

— И все-таки лучше иди.

— Было бы куда...

В зеркале окна, размытые тусклым светом коридорного плафона, безмолвно маячили две молчаливые фигуры, затем одна из них растворилась в дыму, и, оставаясь наедине с собой, Вадим с отходчивой горечью заключил про себя: «Некуда мне идти, Маркуша, некуда, да и незачем!»

IV

Суббота — день свиданий. С утра в палатах царило нервное оживление: освобождались от остатков прошлых передач сумки, под наблюдением санитаров сбивалась недельная щетина, затасканным пижамам придавался посильный лоск. Каждый, даже из тех, кого никто не навещал, хотел выглядеть в этот день щеголем и весельчаком.

По отделению расхаживала в своих знаменитых, сорок последнего размера валенках старшая сестра Нюра, прозванная здешними старожилками «тетей Падлой», и, вяло ворочая обвислой челюстью, покрикивала:

— Живей, ребята, живей! Чтобы кровати по ниточке! Как в санатории! Из тумбочек все вон! Прогулка, оправка и шагом марш на свиданку! Разговорчики!

Первое время Вадим еще втайне надеялся, что однажды дежурный санитар выкликнет и его фамилию, но проходила суббота за субботой, а никто из друзей или знакомых не спешил напомнить ему о себе. И он перестал ждать. Жизнь являла ему наглядное доказательство непрочности застольных дружб. Что же касается жены, то его с нею уже ничто не связывало. Отказавшись взять Вадима из больницы, она сама поставила точку в их недолгих и малопонятных и ей и ему взаимоотношениях.

Поэтому, когда однажды от входных дверей пошла гулко размножаться по палатам его фамилия, у Вадима удушливо засосало под ложечкой: «Кого еще принесла нелегкая? Отстали бы уж, наконец, совсем!»

Долгими коридорами его вместе с другими провели в полутемное сводчатое помещение, где за квадратными четырехместными столами уже размещались первые посетители.

И не успел Вадим толком оглядеться, как из-за стола в дальнем углу поднялся и, чуть покачиваясь, пошел к нему навстречу давний его приятель и собутыльник Федя Мороз.

— Дедюк, — заячьи глаза его, подернутые хмельной поволокой, любовно увлажнились, — здравствуй! — Он грузно обвис у Вадима на руках. — Как же это ты, Вадя, а? Даже знать не дал. Выходит, и во мне раз-уверился? Я тебе — друг или нет?

И хотя Вадим особо не заблуждался по поводу пьяных Фединых излияний, на сердце у него стало ровнее и мир несколько раздвинулся перед глазами вширь и вдаль: «Не все, значит, забыли, помнят».

С Федором Морозом жизнь столкнула его случайно в театральном училище на вечере встречи с литинститутовцами, где тот в очередь с однокурсниками читал свои стихи. И не то чтобы стихи его очень уж пришлись по душе Вадиму — стихи как стихи, ни хороши, ни дурны, расхожего образца средней руки — нет, просто было в этом лобастом, стриженном под нулевку парне, в его манере держаться — сжатые кулаки в карманах выдавшего виды пиджака, ноги широко расставлены, голова боксерски выдвинута вперед — что-то такое, от чего на душе становилось увереннее и тверже.

Потом они вдвоем бродили всю ночь арбатскими переулками, и Федор, попеременно со стихами, поведал Вадиму тогда еще довольно короткую, но пеструю историю своей жизни.

Мальчишкой оставшись без родителей, он определился в мореходное училище, откуда ушел в первую кругосветку. Два года проплавал на морских извозчиках, повидал свет и людей. Еще в детстве «ушибленный» литературой парень в свободные от вахты часы изводил бумагу рублеными виршами под Киплинга и Багрицкого. Почти без надежды на успех послал их вместе с заявлением в литинститут и, неожиданно для самого себя, был принят...

— Вот так, — закончил тогда Федор свою исповедь и скосил в его сторону круглый, блистающий доверчивым озорством глаз, — я и назвался груздем. — И звучно продолжил: «Ураган матросов не пугает. Нет! Они сжимают кулаки. Судно только крысы покидают. Только крысы, но не моряки».

Сначала они встречались от случая к случаю, но каждая следующая встреча все более их сближала и вскоре им уже трудно было обойтись друг без друга.

Успех к нему пришел скоро и надолго. Его охотно печатали. От предложений, причем самых лестных, не было отбоя. Но чем громче становилась популярность Федора, чем доступнее давались ему публикации, тем резче обсекалось его, когда-то круглое добродушное лицо, заметнее темнели глазницы. Все чаще и чаще он стал запивать мертвую, пока, наконец, это не стало его бедой и болезнью. Дружки и приятели потихоньку от него отпадали. Один за другим отпали — все. Федор остался в одиночестве.

Тяжелый, с мертвым лицом, он неделями пластом валялся на раскладушке, поднимаясь только затем, чтобы выпить и снова лечь. Болтал какой-то вздор, но и сквозь этот вздор вдруг блаженно прорывалась порой источавшая его боль.

— Не то, не так, Вадя, слова не те... Кристалла во мне не оказалось... Того самого... Чтобы встать однажды и просто произнести: «И зло наскучило ему...» Наскучило!.. Каково?.. А!.. Умели поручики высказываться...

А, впрочем, бред... Налей, милый, не ругай меня, ведь я не клубный пижон...

Постепенно он сходил на нет, пока не замолчал совсем. Что-то переводил, что-то печатал из старья, прирабатывая потихоньку около эстрады и рекламных бюро. Последние годы они виделись редко, говорить им было уже не о чем, и каждый из них, занятый своими заботами, тотчас забывал о встрече. Оттого, слушая сейчас гостя, Вадим никак не мог отделаться от ощущения виноватой неловкости перед ним за недавнюю свою отчужденность.

— Понимаешь, — Мороз между тем заметно трезвел и подтягивался, — за что-то мы платимся, Вадя. За тяжкий какой-то грех. Там, внутри нас, пустота. И не залить нам этой пустоты ни спиртом, ни ожесточением. Сами в себе задыхаемся. Потому у нас ничего и не получается. Крик иногда кой у кого выходит, а настоящего, чтобы на века, — нет. Вот и «сублимируемся» потихоньку кто как может. Кто бабами, кто, так сказать, общественной суетней, кто доносами...

Воспринимая его вполуха, Вадим, время от времени поглядывал в сторону соседнего с ними стола, где рядом с аккуратным — реденький и словно бы светящийся нимб седой поросли вокруг розовой макушки — старичком, которого ему мельком уже приходилось замечать где-то в лабиринтах соседних палат, сидела девушка лет двадцати-двадцати двух в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета. Девушка держала в своих остреньких ладошках пухлую руку старика, и они ласково и доверительно о чем-то беседовали. У нее было чистое, не отмеченное какой-либо определенной чертой лицо, но едва она начинала улыбаться среди разговора, узкие, близко сдвинутые к переносице глаза ее заполнялись игольчатым мерцанием и тогда в ней цельным и определенным образом проявлялся характер. Порою девушка, перехватывая взгляд Вадима, на мгновение замирала, потом, упрямо вскидывая подбородок, стряхивала оцепенение и отворачивалась.

Машинально кивая в такт Феединой речи, Вадим почти не слышал друга в ревливой боязни избыть, растратить в слово трепетное и все нараставшее в нем предчувствие какой-то скорой и праздничной перемены в своей жизни.

— Не оказалось во мне того самого, магического, Вадя, кристалла, — Мороз уже не замечал ничего вокруг, говорил скорее для себя, чем обращаясь к Вадиму, — а зря бумагу оскорблять не хочу. Без меня хватает. Уж лучше репризы разговорникам сочинять, по крайней мере совесть не мучает. Хочешь, — тяжело усмехнулся он в пространство перед собой, — байку тебе выдам? — И, не ожидая ответа, невидяще повел глазами вокруг. — В самый голодный год встретил один большой литначальник старую поэтессу в самом что ни на есть плачевном состоянии. Ну и отдал ей от широкой души, так сказать, со своего барского плеча особую карточку для потребления в столовке самого первого разряда. На, мол, пользуйся и благословляй меня по гроб. Сам-то он, конечно, другую получил. Прошло время эдак подходящее, снова встречается благодетель старуху. «Что ж ты, — говорит, — Ксюша, ни разу я тебя у нас в столовой не видел?» «Ах, — отвечает, — милый, там такие пошлые потолки!»... Это в сорок втором-то, Вадя, в том самом... Видно, потому-то у нее и получалось... В единстве внутреннем, в гармонии жила старуха. Из света вышла, а мы все — из тьмы... Тьма-то нас собственная и поедает. Да! — Он вдруг ожил и виновато заулыбался. — Что ж я тебя все баснями да баснями! — Ему, видно, доставляло огромное удовольствие выкладывать перед Вадимом свои небогатые дары. — Ты уж, брат, не привередничай, я по этим заведениям не в первый раз хожу. Здесь разносолы ни к чему. Колбаса, сахар, курево, и, главное, побольше. А это вот, — он заговорщицки подмигнул Вадиму, — печеньице к чаю. Смотри не урони, разольется.

В коробке из-под печенья, и это Вадим определил

сразу, было упаковано не меньше двух бутылок. И, по достоинству оценив самоотверженность друга, он удивленно выдохнул:

— Ну ты даешь!

— Однако живем, Вадя! — Феде манны небесной не надо, только похвали. — В такой собачьей жизни да не выпить, совсем с тоски высохнешь. Эх, Вадя, Вадя, жизнь под гору пошла. Уже не переиначишь. — Он вдруг поднялся и заспешил. — Пойду-ка и я где-нибудь по дороге свои сто пятьдесят сглотну. Покуда, Вадя, будь. Прости, если что не так.

Они легонько для порядка помяли друг друга, и Федя вяло отпал от Вадима, двинулся к выходу, и во всей его сразу ссутулившейся фигуре, в походке, в наклоне головы угадывалось усталое облегчение. Безвольная спина его еще помаячила в коридоре, пока ее не размыло светом впереди, и Вадим, благодарно оттаивая, с сочувственной горечью заключил про себя: «Сдает парень, совсем сдает».

Проходя мимо соседнего стола, Вадим коротко скосил взгляд в сторону девушки, с сильно бьющимся сердцем отметил её ответное внимание и, уже выйдя следом за санитаром в коридор, все не мог унять вдруг охватившее его жаркое и томительное волнение.

И потом, когда он, вместе с Крепсом и Телегиным, в простенке между двумя угловыми койками допивал принесенное Федей вино, его при одном воспоминании о ней всякий раз обволакивала радостная задумчивость, сквозь которую в его сознание еще пробивался нетвердый голос захмелевшего Митяя:

— Рази тут мороз? Баловство одно. Вот, скажу я вам, в Игарке мороз — это да! Сорок пять по градуснику да еще с минусом. Душу насквозь просекает. Только я крепок тогда был, выдерживал... А теперь у фортки стыну... Сдает машинка. Долго не протяну... Землица зовет на покой. Обида только: в чужой стороне лягу. Без креста и памяти... Никого нет, ничего нет. Ни ко-

нуры, ни привязи... И рупь мой с версту так и остался в тумане. И кому я задолжал столько, что до сих пор не расквитаюсь!.. Ишь как сердечико прыгает! Как овечий хвост. — Он сунул руку под рубаху и начал старательно растирать левую сторону груди. — Пойду я, братцы, лягу... Мерси на угощение... Неможется чтой-то.

Уходил Митяй неуверенно, ноги переставлял с трудом, серое лицо его, подернутое сивой щетиной, болезненно заострилось и по всему было видно, что доживает он свой век через силу и что отсюда ему предстоит лишь одна дорога—на больничный погост.

— Вот так, Вадя. — Волосатые руки Марка, разливая по кружкам остатки, мелко-мелко тряслись. — Вынули мужику душу и не предложили ему взамен ничего, кроме выпивки. Вот он, этот мужик, и выгорает изнутри синим пламенем. Все наши российские горе-преобразователи, вроде Петра и его марксистских поклонников, умерли с чувством выполненного долга, очень себя уважая умерли, а прожекты ихние нам боком выходят. Нам, не имеющим к ним даже косвенного отношения. В силу какого такого закона за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация? Века платить! И — как! — Хмель почти не сказывался в нем, и только это вот, так не свойственное ему обычно ожесточение, выдавало его. — Притом нас еще и клянут все, кому не лень. Весь свет! Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!

Последние слова Крепса пробились к Вадиму уже сквозь полусонное забытие. И виделась ему девушка в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета, плывущая по утренним снегам ему навстречу. Потом метель размыла ее облик, и голос Телегина стал беречь в нем его собственную затаенную боль: «Никого нет, ничего нет... Без креста и памяти...» И сразу вслед за этим,

словно наяву, обозначился перед ним выпуклый, почти без морщин лоб старичка с венчиком белого пуха вокруг розовой макушки, ласково шелестящего у него над ухом: «Думается мне, вы неправы, Марк Францевич, в данном случае...»

Старичок отвердевал, устаивался, пока не определил себя напротив него в яви. Сидя на краешке Крепсовой кровати, он складывал певучие слова в ровную неторопливую речь:

— ...Да, неправы... Спаситель не жалости к Себе у Отца просил, а любви к распинающим Его... Возненавидеть их страшился. Боялся не снести креста искупления до конца.

— Верую я, отец Георгий, верую! — Таким Вадиму Крепса еще видеть не приходилось: белый, с трясущимися губами, он судорожно цеплялся за отвороты старикова халата. — Только почему допустил Создатель одному только народу телом этого самого искупления стать? Сколько же его распинать можно? Терпим мы, терпим. Терпения у нас хватит. Любовь на исходе. Злоба Россию душит. Если выплеснется, кровь дешевле воды станет. Каким же искуплением тогда оплачивать ее придется?

Злые беззвучные слезы закипали в его выпуклых глазах и, собираясь в уголках век, тихо стекались к подбородку. Марк не замечал их, продолжая тискать лацканы халата, накинутаго на плечи старичка, пока тот не взял его руки в свои, не заговорил умиротворенно:

— Всякому народу своя доля тяжести. От нас самих зависит достойно ее снести, помочь Спасителю в строительстве Его божественном. Роптать значит не идти, а топтаться на одном месте. У вас в руках, Марк Францевич, дело, святое, нужное, угодное Господу дело, оно и спасет вас и многих спасет. Надо только отринуть от себя страх перед мирской мерзостью и не с обстоятельств начинать, а с самих себя, со своего прямого дела...

Словно замороженный его медлительной речью, Марк стихал, светлел обликом, вновь обретал обычную для себя безмятежную ясность. И, окончательно засыпая, Вадим успел мысленно озадачиться по адресу старичка: «Его-то, одуванчика этого, за что сюда?»

V

Кружение в прогулочном дворе было по обыкновению неспешным и молчаливым. Вырвавшись из каменной коробки отделения, где слова служили единственным средством скрасить друг другу скуку существования, каждый старался сполна вобрать в себя свою долю тишины и одиночества.

Небольшого роста, плотный, с крепко и ладно посаженной на широкие плечи головой, Крепс вымеривал территорию двора уверенной и твердой походкой человека, который определенно знает цену каждому своему шагу и вздоху и у которого нет времени для сует и сомнений. Вадим, стараясь попасть ему в ногу, еле поспевал за ним. Снег тихонько поскрипывал под их подошвами. В безветренном морозном воздухе от окрестных деревень тянуло кисловатым дымком прелой соломой. Над головой, в отвердевших ветвях заснеженных тополей лениво и как бы передразнивая друг друга, покрикивали тощие галки. Мир в замкнутом кругу прогулочного двора выглядел таким надежным и предельно устойчивым, что можно было подумать, будто никакая сила извне уже не сможет его поколебать.

— Заметь, — не поворачиваясь к Вадиму, сквозь зубы процедил Крепс, — занятный дед.

Они приближались к скамейке, на которой, зябко кутаясь в халат, накинутый поверх жиденькой телогрейки, сидел прямой, тщательно выбритый старик с висячими, пуховой белизны усами. Издалека он походил на замерзающего кондора, вынужденного зимовать под чужим для него небом.

Минуя старика, Крепс уважительно ему поклонился. Вместо ответа тот глазами указал режиссеру место рядом с собой. Марк кивнул Вадиму, они сели, после чего усач, порывшись за пазухой, достал и молча протянул сидевшему около него Крепсу сложенный вчетверо листок глянцевиной бумаги.

Читая, тот держал документ на некотором расстоянии от себя, с тем, чтобы и Вадим мог, хотя бы краем глаза, схватить суть написанного. В документе французское посольство уведомляло господина Ткаченко Валериана Семеновича о том, что, по ходатайству его супруги, проживающей в Париже, оно готово содействовать выезду вышеозначенного на постоянное место жительства во Францию.

— И как вы решили, Валерьян Семеныч? — Возвращая ему бумагу, Крепс глядел прямо перед собой. — Поедете?

— Наверное, нет. — Смутная полуулыбка обрамила ровный ряд нетронутых временем зубов. — Мне уже восьмой десяток. Каждый день для меня — подарок. Больше половины жизни скитался по чужбине. Теперь я хочу умереть здесь, на родине. Если уж выбирать, то лучше желтый дом в России, чем любая европейская богадельня... Жаль, конечно, Аннет, с ней мы многое перенесли вместе, но она, верно, поймет меня.

— Тогда, может быть, вы все-таки выпишетесь? — Рука Марка легла поверх ладони старика. — Негоже вам, Валерьян Семеныч, больничным приживалой жизнь кончать.

— А куда я пойду, Марк Францевич? — Даже выражение беспомощности не размягчало его скульптурно четкого лица. — У меня там, — он кивнул в сторону забора, — никого нет. Да и что я там буду делать? За сорок-то с лишним лет все переменилось. Не приживусь я теперь на воле. А здесь у меня по крайней мере есть крыша и постоянный хлеб. Нет уж, Марк Францевич, поздно мне снова начинать.

— Как знаете, Валерьян Семеныч, как знаете. — Поднимаясь, Крепс устало поморщился. — Пошли, Вадя.

После разговора со стариком Марк заметно сбавил шаг, поскушнел, шел, то и дело ознобливо поводя плечами. В нем явно проступало нетерпение высказаться, но лишь удалившись на порядочное от усаха расстояние, он разразился горячным шепотом:

— Что же это делается с людьми, Вадя! Полный генерал, первый командующий русской авиацией, кавалер трех Георгиев считает за счастье скоротать последние свои дни в сумасшедшем доме! Мир взбесился! Ты только посмотри на него, ведь он доволен! Доволен! Уж эта мне российская ностальгия! Рабом, побирушкой, бездомным псом — лишь бы на родине. Слышишь, «на родине»! А то, что эта самая «родина» сначала отказалась от него, потом гоняла по всем своим лагерям от Колымы до Потьмы и, наконец, в виде особой милости, разрешила перекантоваться до похорон в дурдоме, — это не в счет. А властям на руку. Они даже культивируют такого рода гнусности в людях. Как же — патриотизм! Так ведь патриотизм-то героев должен рождать, а не лакеев! Что с нами будет, Вадя, что будет? На глазах вырождаемся!

— Как он к нам-то попал? — От всего услышанного Вадим слегка растерялся. — Каким образом?

— В сорок пятом, в Югославии взяли. Он там латынь в русской гимназии преподавал.

— А потом?

— Потом? потом — лагерь. Освободился, идти некуда. Стал хлопотать о выезде — заперли сюда. Теперь, как видишь, сам не хочет. Конечно, за двенадцать лет в эдаком содоме кого хочешь ломает, но все-таки не умещается это у меня в голове.

— Может быть, он прав, Марк. Если уж мы с тобою не смогли приспособиться, то ему ведь еще труднее. Мы хоть родились и выросли в этой выгребной яме.

— Но у него, в отличие от нас, есть сейчас свобода выбора.

— Там ведь тоже хлеб даром не дают, Маркуша, а ему уже вон сколько накачало.

— И ты туда же!

— Но ведь правда.

Тот лишь рукой махнул: иди ты, мол, к чёртовой матери. И направился в отделение. Прежде чем последовать за приятелем, Вадим не выдержал искушения, обернулся. Старик все так же сидел на скамейке, глубоко вобрав голову в плечи, отчего сходство его с больной, брошенной птицей казалось еще более разительным.

VI

Едва они успели раздеться, как появился гость из соседней палаты. Сияя во все стороны выпуклыми цементного оттенка глазами и победно поводя вокруг себя кирпичной бородашкой клинышком, он торжественно потрясал развернутой газетой:

— Поздравляю вас, товарищи! — Его прямо-таки распирало от восторга. — Братская ГЭС дала первый ток! Представляете, товарищи, какой удар по нашим злопыхателям из-за рубежа?

Гость этот — фамилия его была Бочкарев — считался здесь коренным старожилом. Помещенный сюда, по его собственному определению, за активную борьбу с религиозными пережитками, выразившуюся в том, что он изъясил у своей соседки и ухитрился сжечь на газовой конфорке образ Иоанна Крестителя, Бочкарев и тут остался верен себе и своим убеждениям. Имея право свободного выхода, он с утра отправлялся в село за газетами. Затем с карандашом в руках прочитывал их от корки до корки, старательно подчеркивая наиболее, по его мнению, значительные места, после чего садился писать одобрительные реляции в самые высокие адреса. В своих посланиях Бочкарев «горячо одобрял», «с эн-

тузиазмом поддерживал», «безусловно санкционировал» все последние меры и постановления вышестоящих инстанций. Письма его начинались с обычного «в нашем здоровом коллективе больных» и заканчивались традиционным «коммунистическим приветом». Периодика и почтовые расходы целиком поглощали бочкаревскую пенсию, что лишь воодушевляло его бескорыстную деятельность. Получая вежливые ответы в маркированных конвертах, он поглядывал на окружающих таинственно и горделиво. Казалось, не было такой силы в мире, которая могла бы выбить Бочкарева из его раз и навсегда взятой им колеи.

— Но это еще не все, товарищи. — Его праздничное сияние становилось почти нестерпимым. — В Тюменской области забил новый мощный фонтан нефти! Ученые утверждают, что запасы черного золота в этом районе практически неисчерпаемы!

Для Крепса это было слишком. У него даже кровь отлила от лица и белые губы вытянулись в змеящуюся ниточку:

— Слушай, ты, поросенок, — цепляясь за край койки, он весь, словно стреноженный конь, яростно подрагивал, — если ты сию минуту не спинаешь отсюда, я буду делать из тебя клоуна. Ну!

Бочкарева уговаривать не приходилось. Полтора десятка лет, проведенных в отделении для социально-опасных, научили его спасительной осторожности. Мгновенно ретировавшись, он все-таки не утерпел, — помитинговал в коридоре:

— Теряете классовое чутье, товарищ Крепс! Не радуетесь успехам своего государства! Скатываетесь в болото ревизионизма! Льете воду на мельницу!.. И потом у меня поручение к товарищу Лашкову! Его просил зайти товарищ Телегин! Товарищ Телегин серьезно болен!

Известие о болезни Митяяшний раз напомнило Вадиму, что в последнее время тот, обычно шумный и общительный, не появлялся ни в столовой, ни на про-

гулке. «Друг, называется, — укорял он себя, устремляясь в телегинскую палату, — совесть иметь надо».

Митяй истощался на глазах. И без того худое лицо Телегина заострилось, сквозь недельную щетину отчетно поблескивала кожа, сухое и короткое тело его под одеялом, натянутым до самого подбородка, время от времени судорожно дергалось. Рядом с койкой, сложив тяжелые руки на коленях, сидела старшая сестра, и не было в ней сейчас ничего от той тети Падлых, одно появление которой в палате нагоняло на окружающих тоску и оторопь. В нескладном ее облике сейчас явственно проступало горе, неуловимо сообщавшее ее унылым чертам подобие доброты и женственности.

— Ты посиди с ним, милоч, пока не заснет. — Вставая, она старалась не глядеть в его сторону. — Сделаю дела, приду сменю.

Грузные шаги Нюры затихли в коридоре, и Вадим, опускаясь на еще теплый после нее табурет, мысленно озадачился: «Поди угадай, кого клясть, на кого молиться!»

— Переживает. — Часто и прерывисто дыша, Митяй болезненно усмехался из-под полуопущенных век. — Баба — она баба и есть. Хлебом не корми, пожалеть дай... А что пришел, спасибочка... Совсем разворошило меня, прямо страсть... Пропил машинку свою до чиста... Не тянет...

— Пить тебе не надо, Дмитрий Палыч. — У Вадима тягостно засосало под ложечкой. — Совсем не надо.

— Видать, не надо, — миролюбиво согласился тот. — Слякотно на душе, Вадюха, а выпьешь, вроде глаза прорезаются: птахи поют, в листках запах разный, жить хочется! — От возбуждения он даже приподнялся на локтях. — Так бы и не протрезвлялся совсем.

— Лежи, Палыч, лежи, на раскрывайся.

— Боюсь я, Вадюха, смерти боюсь. — Перегнувшись через кровать, Митяй уткнул ему взлохмаченную голову в колени. — Как одна секунда, вроде и не жил

еще... Спину холодит — так страшно... Завязать было хотел бродяжество свое. С Нюркой вот договорился: выйду — сойдуся. По закону сойдуся, а не как сейчас... Неужто не выберусь, Вадюха? Обида-то какая!

Неожиданно резко Телегин откинулся на спину, мгновенно обессилел и затих. Спасительный сон снизошел к нему, и он тревожно заснул, но и у спящего у него нетерпеливо шевелились губы, будто в последнюю минуту он не успел досказать Вадиму чего-то самого главного, самого обязательного.

VII

Среди ночи Вадима разбудил Бочкарев:

— Товарищ Лашков, товарищ Лашков! — шёпотно шелестел он над его ухом, — вас зовет товарищ Телегин. — В полутьме едва освещенной палаты желтые зрачки Бочкарева мерцали вещей торжественностью... — Только, пожалуйста, поскорее. Ему, кажется, очень плохо...

Когда он, с гулко бьющимся сердцем, очутился у кровати Митяя, тому было уже ни до кого. Отвисшая челюсть его безжизненно касалась плеча, жиденькая фигурка под одеялом вытянулась и отвердела, в холодных пальцах остывала скомканная простыня.

Так близко, так непосредственно Вадим видел смерть во второй раз в жизни, но снова, как и в тот день, когда ему пришлось столкнуться с нею впервые, она не столько испугала, сколько заморозила его своим немотным умиротворением. Казалось, человек, перейдя смертную черту, приобшился там — за этой чертой — к чему-то такому, что, наконец, примиряло его со всем и со всеми.

Перезимовав тогда на Хантайской перевалочной базе в качестве полурабочего, полусчетовода, Вадим ранней весной решил, на свой страх и риск, пешком

добраться до Игарки. Предупреждения о том, что этим временем года даже бывалые охотники остерегаются выбираться в тайгу, не остановили его и он, побросав в рюкзак кое-что из еды и бельишка, двинулся по прибрежной хляби лесотундры в сторону Енисея. Многочисленные ручейки, из тех, что летом просто перешагивают, в эту пору разбухли до размеров речек средней руки, и каждую из них приходилось преодолевать по все правилам саперного искусства.

Когда, используя вместо веревок исподнее и единственную запасную рубашку, Вадиму удалось соорудить из двух плывунов нечто вроде плота и, с горем пополам, переправиться через первый поток, он понял, что поход этот оборачивается для него авантюрой, причем безо всякой надежды на успех. Тусклые облака плыли над головой, почти задевая верхушки ржавых лиственниц. Река еще пестрела кое-где медленно скользящими льдинами. Топь под ногами сочилась и пружинила так, что каждый новый шаг давался все тяжелее и медленней. Но самым мучительным и невыносимым было ощущение собственной затерянности среди всего этого свинцового безмолвия.

Очередной поток Вадиму удалось миновать, поднявшись до его верховья, вброд. Но возвращение отняло у него последние силы, и поэтому, когда перед ним, после трех с лишним часов выматывающего душу хода, возникла, как наваждение, новая водная полоса, он уже утратил способность к сопротивлению. И он упал плашмя, вниз лицом на береговой галечник и заплакал, завыл в голос от своего бессилия перед этой — всего каких-нибудь десяти-двенадцатиметровой в ширину — лентой тягуче-мутной речонки. Но вдруг, уже чуть ли не в полубреду, им властно овладело ощущение близости жилья. А некое подсознательное постижение яви, когда в человеке предельно обостряется вся его жизне-способность, укрепило в нем эту спасительную уверенность.

И тогда Вадим последним, почти нечеловеческим усилием воли заставил себя подняться и дойти до самой кромки потока. И здесь, со вздохом веры и облегчения, он увидел слева от себя, метрах в пятидесяти выше по течению, огромную льдину, выброшенную, видно, сюда ранним половодьем и перегородившую собой весенний сток. По ней, как по мосту, он и перешел на другой берег, откуда, на гребне ближнего распада, перед ним возникло, судя по усадебному запустению, безлюдное зимовье.

Но стоило ему лишь потянуть на себя дверь, как тотчас вялый, с болезненной хрипотцой бас заполнил едва освещенное крошечным оконцем логово:

— Закривай быстро... Холодно... Вьетер...

Еще и не обвыкнув в царившем здесь сумраке, Вадим, по знакомому всему хантайскому побережью акценту, узнал Каспара Силиса — промысловика из латышей спецпоселенцев. Высланный в эти края в сорок пятом Каспар, с его цепкой крестьянской хваткой, быстро обжился в новых и неласковых для себя местах, и вскоре аборигены только руками разводили, сравнивая Каспаровы заработки со своими. На зависть удачливо промышлял он рыбой и дичью, в песцовый же сезон, там, где матерые старожилы считали десяток шкурок в неделю за счастливый фарт, Силис в один только суточный обход брал, как правило, до пяти штук, не менее. И сколько Вадим ни пытался выследить хитрого латыша, чтобы засечь систему его секретов, тот без особого труда, как бы даже играючись, неизменно ускользал от слежки. А потом, с богатой добычей заворачивая на базу передохнуть и обогреться, только посмеивался в сторону Вадима:

— Не добыть тебе писець, Вадья. Не идет в твой капкан... Мой хочьет... Мой ему лутче...

Теперь же Каспар лежал перед Вадимом на старом своем овчинном полушубке, весь в крупной испарине, и распоротый от самого носка вдоль голенища пим ва-

лялся у его ног. Правая ступня была наспех закутана случайным тряпьем.

— Зажигай печка, Вадья, гриеться будем. — Лихорадочная воспаленность не погасила привычной усмешки в его глазах, скорее наоборот, только обострила ее и сделала еще более вызывающей. — Пьесець капкан ловиль, тьеперь сам капкан попаль...

Когда в давно не топленной печке весело и гулко вспыхнул огонь и Вадим, буквально содрав с ноги Каспара скоробившийся от засохшей крови носок, осмотрел его раздробленную зубцами волчьего капкана ступню, он полностью осознал всю безнадежность ситуации, в которой тот оказался. Жухлая, в чешуйчатой коросте кожа уже исходила темно-бурыми, расплывчатой формы пятнами. Не надо было быть большим спецом, чтобы безошибочно определить все признаки газовой гангрены. От ближайшего ненецкого спецпоселения Плахино их отделяло не менее сорока километров, густо пересеченных осатаневшими из-за такого напора ручьями. И если в одиночку Вадим едва-едва осилил чуть больше половины этого расстояния, то, чтобы двинуться дальше вдвоем с обессиленным Каспаром, — нечего было и думать.

Оставалось одно: сидеть и ждать. Ждать, когда смерть довершит свое дело. И от того, что он обречен быть свидетелем ее медленной, но неотвратимой работы, Вадиму становилось не по себе.

— Грейся, Вадья, — Каспар, наверное, угадывал страх Вадима, колючая насмешливость в нем оттаивала снисходительным добродушием, — вода дольго будьет... Рибa есть, пшeнка есть, сидьи грейся... Меня погаит уже не можно... Плохо не Латвия... Ты биль Латвия, Вадья? Ай-ай-ай, Вадья, Латвия не биль!.. Аурумциес деревня... Рибeки все... Морье окно видно...

Пять нескончаемо долгих суток, то впадая в бредовое забытье, то снова приходя в себя, выдубленный горем и стужами могучий организм Силиса отвоевывал

свою жизнь у подползающей к его сердцу гибельной порчи. На шестой день, когда незаходящее июньское солнце, едва коснувшись горизонта, медленно потянулось к зениту и зимовье залило его ровным багровым отсветом, заострившееся, в бурой щетине лицо Каспара вдруг просветленно обмякло, и он с прежним своим озорством взглянул в сторону Вадима:

— На лижня, на лижня виставляй капкан, Вадья... Пысець бьегает на снег... Бьегает. Снег мягки... Лижня твърдый... Пысець бежалъ на лижня... Твърдо хорошо... Бежать быстро, быстро можъет... Не уйдет с лижня... Ставь капкан на лижня, Вадья. Много-много пысець тебе будъет... Денег много будъет, Латвия поедъешь... Аурумциес глядеть будъешь... Морье...

Еще какое-то время запекшиеся губы Силиса беззвучно шевелились, но грузное тело его уже облегченно вытягивалось, и, наконец, он окончательно затих, и солнечный блик из окошка, коснувшийся в этот момент Каспарова лба, только с недвусмысленной резкостью обозначил его безжизненную сухость. Перед Вадимом, тяжело распростершись на овчинном своем полушубке, лежал старый латыш, выброшенный с родной земли на самый край самого бесприютного угла земли, но даже смерть не могла стереть со всего его облика выражение покойной уверенности человека, достойно прожившего свою жизнь...

И сейчас, в оцепенении глядя на остывшую плоть Митяя, на его вялые, раскинутые в стороны руки, он впервые в жизни проникся пронзительным отчаяньем: «Неужели и мне вот так придется? Вот так?»

VIII

Крепс метался из угла в угол опустевшей курилки, и дымок его сигареты голубым шлейфом кружил следом за ним. В последнее время бессонница частенько

сводила их здесь по ночам, и бывший режиссер убивал время, развивая перед Вадимом свое видение мирового репертуара. В эту ночь его одолевало Гамлетом:

— Видишь ли, у всех датчанин обвиняет, у меня он будет обвинять тоже, но обвинять, сознавая, что, будучи духовно выше окружающих, он не вправе с них спрашивать, а тем более опускаться до мщения. Гамлет как бы существо инопланетное. И чем тоньше организован звездный пришелец, тем осторожнее должен вмешиваться он в земной правопорядок. А уж коли вмешался, то будь добр платить собственной пыткой — жалостью... Отсюда и ключ мой не в «быть или не быть», а в «из жалости я должен быть суровым». Пусть он прощения просит за свою нетерпимость и заранее знает, что кровь, пролитая во имя справедливости, не приносит в мир ничего, кроме крови. Его не враги, его собственная раненная совесть распинает... Вот смотри...

Легким взмахом руки он перекинул халат через плечо и замер посреди курилки: «Один. Наконец-то...» И случилось чудо. Перед Вадимом на цементном полу больничной уборной погибал, плача от гнева и жалости, истинный сын своего века в затасканном халате из дешевой байки. И не принц датский шепотом вопрошал у темноты за окном: «Быть или не быть?» И не наследник королевского престола, устало опираясь о косяк обшарпанной двери, взывал к миру, но более всего к себе: «Достойно ль?» Это заживо хоронил себя сосед Вадима по койке, стране, земному шару. Но вот он, словно сдаваясь на милость победителя, поднимал у самого уровня плеч руки и так — ладони вперед — двигался к нему из глубины уборной. «Вот два изображения: вот и вот». И волшебство сопереживания начинало колотить Вадима мелкой дрожью. А когда принц, почти обуглившийся от сострадания, раненно простонал, сползая к ногам матери-отравительницы: «Из жалости я должен быть суровым», Вадим, сглатывая судорожные спазмы, только и смог мысленно заключить: «Черт бы

тебя побрал, Крепс!» Начиная с «Прости тебя Господь», где Гамлет уже чувствует приближение скорого конца, Крепс провел всю сцену до финала, держась за воображаемые настенные мечи. Так он и умер распятой птицей — между дверью и ближайшим к выходу унитазом.

— Ну как? — Марк сел и сразу же возбужденно заблестал желтым оком в его сторону. — Годится?

— Годится! — Вадим боднул его головой в плечо. — Высший класс.

— Знаешь, — тот с пристальным вниманием оглядел его, — теперь я бы тебя взял.

— Что так вдруг? У меня другая школа.

— В тебе появилось что-то такое, чего я жду от актера. Ты стал слышать.

— Поздно, Марк, я хочу завязать с этим делом.

— И давно это ты?

— Давно. Воли только не хватало.

— Знаешь, — в пристальном его внимании сквозила откровенная зависть, — а ты больше, чем я думал.

— Спасибо...

Еще в день приезда, прежде чем отправиться домой, он завернул в управление с твердым намерением окончательно рассчитаться с эстрадой. Решение тогда еще только вызревало в нем, только набирало силу, но предчувствие близкой и крутой перемены в жизни уже властно захватило его и он, формируя события, двинулся прямо в орготдел.

После крикливой сутолоки коридоров кабинет Вилкова мог показаться непосвященному обителю тишины и безмятежности. Но кто-кто, а Вадим-то определенно знал, что не у высокого начальства, а именно здесь сходятся все хитросплетения самого, на первый взгляд, безалаберного учреждения в стране. С педантичностью счетной машины Илья Николаевич Вилков сортировал свои кадры по бригадам, которые затем колесили по всему Союзу, забираясь подчас в самые медвежьи его

уголки. Хозяин кабинета держал в лысеющей своей голове сотни фамилий и полную меру того, что стояло за каждой из них. Людям же «с красной строки», к разряду которых принадлежал и Вадим Лашков, он вел особый, не предусмотренный никакими инструкциями учет. Поэтому, когда тот молча положил перед ним заявление об уходе, Вилков лишь брезгливо поморщился и, не читая, отодвинул бумагу в сторону:

- Прибалтику хочешь?
- Нет.
- Закавказье?
- Тоже — нет.
- Как у тебя с жильем?
- Порядок.
- Баланс?
- Полная норма.

Холодноватый взгляд выпуклых, немного навывкате глаз Вилкова тронула удивленная заинтересованность:

- Так чего же ты хочешь?
- Уйти.
- В театр?
- Нет, совсем.
- Как это совсем?
- Сменить профессию.
- Не смешно.
- Мне тоже.
- А если конкретнее?
- Считаю, что занимаюсь не своим делом.
- Ну знаешь, если бы каждый так рассуждал...
- Надо же кому-то начать.
- Послушай, Лашков, я тебе не враг...
- Я себе тоже.
- Давай серьезно.
- Я без шуток.
- Чего это ты вдруг?
- Хочу начать сначала.

- Что начать-то?
- Жить.
- Тебе тридцать пять.
- Начать никогда не поздно.

— А ты представляешь себе, — обычно невозможное, выбритое до синевы лицо его вдруг утратило начальственную медлительность, упругие плечи обмякли и ссутулились, — представляешь, что значит сначала?

История Вилкова была известна Вадиму, как, впрочем, и большинству эстрадников. Работая в одной высокой организации, тот в свое время отказался свидетельствовать против друга военной молодости. Суд был неправым, но коротким. Генеральскую форму Вилкову пришлось сменить на куда более скромное одеяние. Много лет прошло, прежде чем бывшего генерала вернули из мест не столь отдаленных и, памятуя о том, что по характеру возглавлявшегося им ведомства он и раньше соприкасался с областью культуры, вручили ему концертные кадры для укомплектования и руководства. Вадим недолюбливал Вилкова, как и всех подчеркнуто аккуратных людей вообще, считал его сухарем и педантом и потому обращался к нему только в случае крайней необходимости.

— Чтобы представить, наверное, нужно начать. — Вадим спешил прекратить и без того затянувшийся разговор. — Я ведь не школьник.

— Дали мне тогда Рязань для местожительства. — Отрешенно глядя в окно, тот словно раздумывал вслух. — Пойти не к кому. Родня у меня еще до войны вымерла. Жена, сам понимаешь, уже давно замужем. Да я и не виню, не было у нее другого выхода. Друзей подводить своим визитом не смел... Так и приехал, в чем есть, то есть в старой форме своей, только окантовку спорол... Снял я там уголок у старушки «божьего одуванчика» и с утра пошел наниматься в товарную контору. Был я тогда еще мужик крепкий. Взяли. Грузчиком. Пришел, помню, первый раз со смены, живого ме-

ста нет, ломит всего с непривычки. Зато уж и сон был, как у новорожденного. И хлеб ел утренний со щами вчерашними — за уши не оттащишь. Думал, снова жизнь начинаю... Да друзья не дали. Разыскали, восстановили, вознесли... И пошел я опять по кабинетам, как по рукам. — Он сожалеюще вздохнул и вопросительно оборотился к Вадиму. — И куда же?

— Еще не знаю.

— Не раздумаешь?

— Нет.

— Так. — Вилков тронул пуговичку звонка. Мгновенно у порога возникло услужливое диво во всеоружии своего косметического сияния. — Оформляй Лашкову «собственное желание». И скажи там: сегодня уже никого не приму. — Та бесшумно растворилась за дверью. — Чаю хочешь?

— Не потребляю.

— Знаю, знаю... Ты у меня в этом смысле давно на заметке. Были сигналы. Меру, Вадим Викторович, меру надо знать... А, впрочем, это твое личное хозяйство. Умный проспится... На-ка вот взгляни, — он вынул из-под настольного стекла и протянул Вадиму фотографию, — это мои теперешние...

Две русоволосые девчушки со смешливой доверчивостью глядели оттуда в мир, еще не подозревая, что самым своим существованием они делают жизнь вокруг себя осмысленной и надежной. И, поддаваясь вдруг проникшей его откровенности, Вадим спросил:

— Значит, можно сначала?

— Можно, но трудно.

— Тогда попробую.

— В добрый час.

За окном тихим золотом опадали сентябрьские тополя, сквозь которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многооконных коробок уже стоит в ожида-

нии его — Вадима, нетерпеливо подраживая его белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился:

— Пойду, пожалуй.

Тот, против ожидания, не обиделся бесцеремонной торопливостью гостя: встал, вытянулся во весь свой почти двухметровый рост, — снова по-спортивному подтянутый и прямой, — вышел из-за стола, порывисто полубоялся Вадима и тут же легонько оттолкнул от себя:

— Разговор наш между нами. Так что, если не осилишь, возвращайся... Будь.

Тем памятным для него разговором Вадим как бы подвел тогда черту под всей своей предыдущей жизнью и поэтому сейчас, откровенничая с Крепсом в ночной курилке, он лишь укреплялся в своем решении.

— Понимаешь, — Вадима неожиданно для самого себя прорвало, — не мое это дело. Все не то, не так. Чего-то во мне главного не хватает. Не хуже, конечно, чем у других, но и не лучше. Так себе, расхожая серединка. Хочу все заново, с чистого, как говорится, листа попробовать. Обратно мне теперь дороги нет. Сам свою суть отыскать хочу. В чем она — не знаю, но отыщу, или нету мне жизни...

На последнем слове Вадим испуганно осекся. В проеме двери внезапно, будто в кино следом за резким монтажным стыком, оказалась фигура заведующего отделением.

— Ты мне нужен, Марк. — Близко сдвинутые к переносице веки его тревожно вспорхнули в сторону Вадима. — Дело касается лично тебя.

Странное появление Петра Петровича ночью, да еще и в курилке, и это его приятельское «ты» по отношению к Марку несколько обескуражили Вадима, хотя,

уже догадываясь о многом, он уступчиво повернул к выходу, но Крепс резко остановил его:

— Не уходи, Вадя. — У него даже щеки ввалились от волнения. — При нем можно. Говори.

— Есть предписание, — не отводя взгляда от Крепса, доктор складывал слова с видимым усилием, — отправить тебя в Казань.

— Меня одного?

— И попа тоже.

— Не попа, Петя, а священника.

— А, — устало махнул рукой тот. — Какая разница!

— Большая, Петр Петрович, — бешено взвился Крепс, — очень большая, Петя! Неужели ты до сих пор так ничего и не понял? Мне казалось, что после того... после тех венгерских мальчишек, которых мы с тобою расстреливали, в тебе что-то проснулось... Или тебе мало всего, что творится вокруг тебя? Разуь же, наконец, глаза, Петя! Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пытались решать больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас. Нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жаловании у государства! А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божье. Мы для них страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков. Потому что человека, воспринявшего этот Свет и Слово, уже невозможно купить или сломать. Только зря стараются! Мы ведь и в Казани останемся теми же. С нашим миром нас уже не разъять. И в Казани — люди, а, значит, и благодать Создателя.

О Казанской, тюремного типа, больнице Вадиму уже приходилось слышать немало. Туда отправляли неизлечимых убийц и всех тех, о ком в высоких сферах считалось полезным забыть. Обратной дороги оттуда не было. Менялись вожди и правительства, гремели вой-

ны и совершались тихие перевороты, и только законы Казанского специзолятора оставались неизменными: человек, раз перешагнувший его порог, исчезал, стирался в людской памяти. Поэтому, едва услышав о Казани, Вадим понял, что Крепсу уже нечего терять.

— Ты успокойся, Марк. — Острые скулы доктора напряглись до предела, — если хочешь, ты можешь уйти.

— Каким образом?

— В чем есть. Остальное меня не интересует.

— Но это интересует меня.

— Я поплачусь дипломом. И только. Больше ничего, честное слово.

— Значит, побег. Без паспорта и средств к существованию. То есть рано или поздно опять-таки Казань, но уже без твоего участия? Нет, Петя, не посودهйствую я твоему душевному комфорту. Будь добр, за свое плати сам. Может быть, когда-нибудь тебе это надоест и ты очнешься. К тому же ни за какие коврижки я не оставлю старика. Так что считай, что ты мне ничего не предлагал, а я ничем не жертвовал. И мы ничего друг другу не должны. Спи спокойно, дорогой товарищ.

— И это все, что ты мне можешь сказать?

— Всё. И ни копейки больше.

— Дело твое.

Он еще постоял, этот доктор, покачался с носков на пятки в своих тупоносых лодочках, будто в беспамятстве закрыв глаза и судорожно двигая скулами. Потом бесшумно развернулся и пропал, словно его и не было здесь вовсе.

— Ну что же, Вадя, — после недолгого молчания с веселым отчаяньем оборотился к нему Крепс, — вот и пришла моя очередь.

— Я бы ушел.

— Куда, Вадя?

— Все равно куда, я ушел бы.

— Это не по мне, дорогой. — Крепс пристроился сбоку и положил ему руку на плечо. — Я долго не выдержу такой жизни. Да, кстати, я и не умею ничего делать, кроме той бессмысленной ерунды, которой меня обучили в институте... И запомни, Вадя, если это вздумаешь предпринять ты, они будут тебя старательно, очень старательно искать. И найдут. Обязательно найдут. Причем уже совсем не потому, что ты опасен сам по себе. Нет! Просто ты теперь узнал немножко больше, чем полагается простому смертному. Так что прежде хорошенько подумай. — И, помогая Вадиму уяснить себе смысл только что происшедшего тут, он насмешливо покосился в сторону двери. — Мы с ним Суворовское вместе кончали, а потом служили вместе... Себе на уме... Из нынешних.

В эту ночь они не сказали друг другу больше ни слова. Слова были бессильны сейчас вобрать в себя всю обнаженность мысли и чувства, какая объединяла друзей в их красноречивом молчании. Сквозь подернутое стужей стекло фрамуги, в сумрак курилки заглядывала одинокая звезда, окрашивая это молчаливое бдение своим вещим мерцанием.

IX

Уж кого Вадим не ожидал теперь увидеть, так это деда. После той последней узловской встречи он и предположить не мог, что они когда-нибудь еще увидятся. Слушая старика, Вадим не в состоянии был отделаться от чувства вины перед ним и поэтому всякое его слово воспринимал как упрек и напоминание.

— Опеки мне над тобой не дают. Стар, считают, уже очень. Но я еще постучусь, Вадя, похожу. Ты только потерпи, не бесись.

Дед говорил, не глядя на Вадима, куда-то в пространство перед собой, и пергаментные, в старческих веснушках кулаки его на столе по привычке были вы-

двинуты далеко вперед. Таким дед и помнился Вадиму все годы его скитаний с того самого дня, когда известное в Узловске своей монолитностью лашковское семейство дало первую, но уже непоправимую трещину. А ведь казалось им — Лашковым — век сносу не будет.

Не забыть Вадиму того, почти неправдоподобно прозрачного утра в Узловске, когда в распахнутый настежь пятистенник деда Петра съехались все его сыновья и дочери вместе со своими благоприобретенными половинами и первой порослью.

Сам дед Петр, в новой сатиновой косоворотке со щегольски отстегнутым воротом, сидел во главе стола и с горделивым довольством оглядывал свой клан, среди которого особо выделялся осанкой и статью первенец его — Виктор.

А тот — и это у Вадима четко запечатлелось — явно чувствовал всеобщее к себе внимание и, чтобы скрыть смущение, все посмеивался, все посмеивался, оглаживая одной рукой стриженную голову сына, а ребром другой рубил воздух, как бы подсекал каждую произнесенную фразу:

— Ну, рабочий уже наелся, даже, как видите, — тыльной стороной ладони он поддел и небрежно вскинул вверх конец своего галстука, — бантик прицепил к шелковой рубашке. А дальше что? Согнали лучшую часть крестьянства с земли, отправили за Урал, а сами в частушки ударились, чтобы уши от мирового шума законопатить: «Вдоль деревни, от избы и до избы...» А что в колхозах творится, до того нам вроде и дела нет? Что, папаня, посмурнел? Неувязка выходит с вашей генеральной линией?

И не успел враз потемневший дед рта открыть, как из-за стола встал муж Варвары — Анатолий Тихонович — сухощавый интендант со шпалой в петлице, и, едва разжимая и без того тонкие губы, тихо выцедил в сторону отца:

— Рано пташечка запела...

— Уж не ты ли кошечка? — насмешливо перебил его тот. — Не коротки ли коготки?

— Мы с такими на Хасане, — острые скулы капитана пошли пятнами, — много не разговаривали.

— А что ты там делал, на Хасане? — уже открыто издевался над ним отец, — сухари в обозе пересчитывал?

Растерянность, наступившая было вначале, сменилась всеобщим, особенно среди женской половины, криком:

— В кои-то веки собрались.

— Нашли время!

— Хлебом их — мужиков — не корми: как соберутся, так все про политику.

— Нет посидеть по-людски.

Все говорили разом, каждый старался оставить последнее слово за собой, отчего накал разговора постепенно возрастал, грозовые нотки нет-нет да и прорывались уже то в одном, то в другом конце застолья, и неизвестно, чем бы все это кончилось, а кончилось бы все это скорее всего дракой, если бы дед Петр не встал и не стукнул кулаком по столу:

— Что ж, спасибо и на этом, Витек. Откровенность твою ценю и уважаю. Тем же рублем и ты получай. Хоть и сын ты мне единокровный, но помни: не дрогнет у меня рука, коли надобность для партии в том будет. А теперь собирай-ка ты свои манатки и вот тебе порог...

Внезапно возникшую тишину мерно отсчитывали ходики над комодом. Младший из братьев — хрупкий и застенчивый, словно девушка, — Митек, жалобно пошарив по лицам близорукими глазами, умоляюще воззвал было:

— Ну что вы, мужики, ей-Богу... Так все было по-хорошему...

Но мать Вадима, непримиримая ко всяким поползновениям на авторитет своего законного мужа, тем более со стороны такого прямого противника их супру-

жества, как ее свекор, подсекла деверевы излияния в самом истоке:

— Вот что, папанечка, — серые, калмыцкого сечения глаза ее светились нескрываемой яростью, — спасибочки тебе за хлеб, за соль, только хвост тебе поднимать против моего Витьки, кишка тонка. Кто ты есть такой, Лашков? Полжизни наганом промахал, а теперь: «Ваши билетки, граждане!» А Витька мой мастер-лекальщик первой руки, не тебе, папаня, чета. Языком вы много понапороли, только сами-то ничего делать не умеете. Все за народ орете, а вы бы лучше специальность какую путевую заимели бы да и работали. Вот тогда и было бы «за народ». Много вас нынче командиров развелось, работать только некому... А вас, — она обернулась к свояку, и скуластое лицо ее презрительно отвердело и вытянулось, — Полыниных, я вот с этих годков знаю. Брательник твой раскулачивал нас. После нашего же хлеба раскулачивал. Где он теперь, брательник-то твой? Думал на чужом горбу в рай въехать. От своих же и награду получил — десять лет. А я с двенадцати годков с зарей вставала, со звездой ложилась, и все семейство наше так. А вы — Полынины — из кабака от Мокеича не вылезали, а теперь нас — в грязь, а сами — в князь. Так вот я вам что скажу напоследок: нас переведете, дети останутся. Детей изничтожите, внуки вырастут. Но переживем мы вас, хлебоедов, переживем. Не такое терпели, перетерпим и вас. Только так думаю, что вы раньше сами друг дружку перегрызете... Поехали, Виктор... Собирай парня...

— Вот она, сущность кулацкая, себя и показывает! — кричал Полынин, отрывая от себя молча виснувшую на нем Варвару. — Говорил я вам, Петр Васильевич, предупреждал... Где же чутье ваше классовое, партийная зоркость, наконец, где? Спасли змею от выселения, пригрели, а она жалит нас где только возможно.

— Это у тебя-то, интендант, классовое чутье! Бога побойся. Ты хоть один мозоль за жизнь свою сволочную

нажил? Женька, — отнесся отец к брату, — ты не молчи, не отворачивайся, ты же мастеровой, скажи свое слово!

Но тот, уткнув голову в локоть сестре Федосье, тихо плакал и лишь бормотал в горячечном беспамятстве:

— И за что только нас... И за что только нас обидели так... В родне же и то не сойдемся...

Федосья легонько оглаживала его голову и смотрела на всех недоумевающими, полными слез глазами.

Никто бы так и не заметил в общей суматохе бессловесно жавшуюся к печи бабушку Марию, если бы она как раз в тот момент, когда отец подхватил Вадима на руки и, сопровождаемый женой, двинулся к выходу, не выступила вперед и не опустилась перед ним на колени:

— Витенька... Прости ты их всех ради Господа нашего Спасителя. — Голос бабушки звучал тихо и ясно, и худое, уже отмеченное гибелью лицо ее было высвечено каким-то заветным знанием, что доступно лишь новорожденным и почившим. — Не видать ведь мне тебя больше, отжила я. Не держи сердца, останься. Тебе это зачтется, сынок...

И впервые увидел тогда Вадим, как в полурыдании задрожали отцовские губы:

— Что вы, маманя, что вы... Так это мы... по-братски... Поцапались малость... Сошло уже...

Жиденское бабкино тело утонуло в его руках, и он понес ее через расступившуюся по обе стороны родню в смежную половину, и сложил ее там на прадедовском еще сундуке, и бережно укрыл старую праздничным своим пиджаком, и остался сидеть с ней, и они о чем-то долго и доверительно там перешептывались.

Но если временное облегчение и коснулось кого, то лишь не деда Петра. Выдвинув вперед себя кулаки на столе и откинувшись на высокую спинку плетеного стула, дед сидел прямой и безучастный ко всему, без кровинки в лице, и по одному его виду явствовало, что

всё, кроме того, что было сказано им самим, он не считал сейчас хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания, а потому и существенным. Таким он и остался в памяти у Вадима вплоть до недавней и болезненно памятной встречи.

Внешне дед оставался тем же властным, жестким, уверенным в своей правоте стариком. Но от глаз Вадима не могло укрыться и то, как подрагивают его ослабевшие кулаки, и то, как временами срывается, словно на выбоинах, когда-то чистого металла басок, и то, наконец, как не свойственная ему раньше усталость сквозит во всяком движении и слове старика. И сердце Вадима переполнялось любовью и жалостью к этому, самому близкому для него на земле человеку.

— Да ты не беспокой себя понапрасну, — у него сорвалось дыхание, — не век же меня здесь держать будут.

— Век не век, — тот впервые взглянул на него прямо и настороженно, — а скоро не отпустят.

— Думаешь?

— Знаю.

Дед не умел говорить лишнего. И Вадим понял, что дела его обстоят хуже, чем он предполагал. Сглатывая удушливый комок в горле, он невольно скосил взгляд в тот угол, где особняком от других устроился отец Георгий, о чем-то тихо и ласково перешептываясь с дочерью. Та бережно оглаживала ему запястье, глядя на него преданно и самозабвенно. Нетрудно было догадаться, о чем они говорили. Она уже обо всем знала. Именно поэтому, слушая отца, девушка вся как бы заострялась изнутри, словно каждым своим словом и жестом он вбирал ее в себя, чтобы уже никому и никогда не вернуть. Исподтишка наблюдая за ними, Вадим привлёк к ним и внимание деда:

— Кто такие?

— Священник один... С дочерью, — и добавил неожиданно для себя самого: — Наташей зовут...

— Наталья? — Дед не отличался деликатностью. — Хорошее имя. И лицо хорошее. Без вранья! Не твоей кукле чета.

— Хоть бы не напоминал!

Из угла их внимание было замечено: девушка густо покраснела, а старик, приподнявшись с места, улыбочиво поклонился. Дед так же церемонно ответил: знакомство состоялось. Поэтому, когда все подались к выходу, старики нашли о чем перекинуться друг с другом, оставив молодых лицом к лицу.

— Меня Вадим зовут. — Слабея дыханием, он еле выговаривал слова. — Здравствуйте.

— Здравствуйте. — В ее смущении было что-то беззащитное. — А меня — Наташа.

— Я знаю.

— Вы с папой дружите?

— Почти.

— Что так?

— Я здесь недавно. Не привык еще.

— И не надо.

— Что не надо?

— Привыкать.

— Не буду...

Возникшее между ними сразу вслед за этим трепетное молчание прерывалось только неспешным разговором стариков у них за спиной.

— Да, да, это так. — Голос отца Георгия звучал почти страдальчески. — И все-таки с такими решениями не следует спешить... Впрочем, во всем Промысел Божий... Я сам на старости отрекся от всего, чему поклонялся... Но вам труднее, вы — атеист. У вас нет духовного убежища. Вы идете против своей природы. Мне много легче, у меня нельзя отнять того, что есть во мне и со мной... Самое прискорбное для меня это то, что я не сумел их убедить...

— В чем?

— Я пытался доказать им, что мистика Церкви,

имеющая сама по себе огромное для верующего значение, пуста и бессмысленна, если она не подкрепляется активным деянием пастыря в обыденной жизни. Люди устали от слов, они жаждут примера. Русскую Церковь подорвала не власть, а собственная опустошенность, засилие мирской праздности и суесловия. Меня обвинили в гордыне... И вот я здесь...

— Попугать хотят?

— Едва ли.

— Чего же еще?

— Избыть.

— Как это?

— Насовсем избыть. Из мира.

— А права какие? — Дед явно начинал кипятиться, его болезненное чувство к несправедливости, как всегда, искало выхода в гневе. — Какие такие права есть?

— Понятие классового правосознания должно быть близко вашему сердцу. — Сказано это было безо всякой язвительности, скорее даже с сочувствием к собеседнику. — Перед вами наглядный его объект. Так что уж какие там у меня могут быть возражения!

В коридоре людской поток растекался надвое: одни к выходу, другие, в сопровождении санитаров, в сторону внутренних помещений. Прежде чем разойтись с девушкой, Вадим бережно коснулся ее пальцев, и она не отстранилась, только коротко и вопросительно взглянула на него и быстро-быстро, не оглядываясь, пошла вперед. И тут же грузная фигура деда окончательно заслонила ее от него:

— Ты тут не раскисай. — Он складывал слова, явно думая о чем-то совсем другом, какая-то новая тревога вошла ему в душу и он уже весь источался в ней, в этой тревоге. — Не так уж я стар, чтобы с первого раза отступить. Достучусь.

Дед легонько помял Вадима за плечи, затем не столько оттолкнул, сколько сам от него оттолкнулся и, круто развернувшись, двинулся к выходу. Его большая

сутулая фигура долго еще маячила в глубине коридора, и, если бы Вадим не знал своего деда, он мог бы подумать, что тот пьян.

Пристраиваясь к Вадиму, отец Георгий, как бы незначай, обронил в сторону удаляющегося Лашкова старшего:

— Не снесет себя этот человек, коли не поверует. Только вера его и спасет.

Х

Это было первое за зиму солнечное утро. Осиянные пронзительным светом палаты ожили и заволновались. Кружение по коридору стало многолюднее и бойче. Что-то стронулось в отделении, сошло с места. В самых темных его углах вдруг возникли новые лица, о существовании которых раньше как-то даже и не подозревалось. В палату к Вадиму заглянул бывший учитель Горемыкин и, мигая подслеповатыми глазами в окно, удовлетворенно потер ладони:

— Представляете, Вадим Викторович, что сейчас в Англии-то, а? В графстве Кент, к примеру! Сплошная весна и цветение вереска.

Он даже засмеялся от радости за графство Кент. Когда-то, года три еще тому, Горемыкин преподавал английский в одной из подмосковных школ. Влюбленный в предмет педагог так досконально изучил все, что касалось Англии, что мог, наверное, с закрытыми глазами вывести любого англичанина кратчайшим путем от порта до Британского музея. Но в конце концов, подавая заявление о выезде к дорогим его сердцу берегам, он не учел небольшой разницы в законодательствах двух знакомых ему государств и прямо из приемной союзного МИДа угодил в Троицкую, безо всякой уже надежды когда-нибудь отсюда выбраться.

— Знаете, Вадим Викторович, — продолжал он улыбаться и потирать руки, — весна в большой степе-

ни очищает воздух над Лондоном. А то, знаете ли, этот «смог» прямо-таки бич...

Молча лежавший до сих пор с натянутым до самого подбородка одеялом Крепс неожиданно напрягся, и влажные глаза его затравленно скользнули куда-то за спину Горемыкина. Мгновенно проследив его взгляд, Вадим увидел заворачивающего в палату из коридора Петра Петровича. Тот легонько, кончиками пальцев отстранил со своего пути бывшего учителя и, вплотную приблизившись к койке Марка, почти шепотом уронил:

— Сегодня, Марк. — И уходя от искательной муки того, перешел и совсем уже на шепот: — Сейчас.

Дорого бы дал Вадим, чтобы не видеть в это мгновение истлевающих ужасом глаз Крепса. Но это длилось только мгновение. Сразу же вслед за этим губы Марка упрямо отвердели, подбородок еще резче выдвинулся вперед, он пружинисто вскинул свое крепкое тело, сел, опустил ноги на пол:

— Пошли.

Уже отходя, он глазами позвал Вадима за собою и, более не оглядываясь, шагнул в коридор. Петр Петрович последовал за ним, птичьим оком своим упреждающе покосившись в сторону Лашкова. Но того уже не могла удержать никакая сила: он пойдет за Крепсом до последнего, до той самой дверной черты, которая навсегда разделит их.

Отец Георгий уже сидел в предбаннике уборной около двух узлов с вещами, под присмотром мокрогубого санитары из приемного покоя. Марк вошел, старик поднялся ему навстречу, они молча обнялись и некоторое время стояли так, молча обнявшись. Потом, все так же не говоря ни слова, перекрестили друг друга и принялись за узлы.

Каждый из них одевался согласно своему характеру. Отец Георгий, уже отбывавший до того срок где-то в районе Потьмы, оборудовал себя со вдумчивой тщательностью, всякую вещь устраивал на себе долго и

внушительно, валенок и тот натягивал, будто действие творил. Оттого, когда он, наконец, собрался, любой бы мог, не раздумывая, сказать, что человеку этому предстоит дальняя и многотрудная дорога. Крепс же — в случайной одежке: цветастая рубашонка, поверх курточка фланелевая, брюки в обтяжку, да импортный плащишко выше колен — выглядел рядом со стариком, будто залетная пичужка рядом с матерой и основательной птицей. Шапки у него тоже не оказалось, и тетя Падла выдала ему на свой страх и риск больничную. Надо очень не любить людей, для которых шьешь шапки, чтобы шить именно такие: вислоухие, неопределенного цвета, с болтающимся, как собачий язык, козырьком. В них человека можно было принять и за пилигрима и за беглого одновременно.

Когда со сборами было покончено, Крепс обвел кольцо любопытных вокруг себя нездешним взглядом и, дойдя до Вадима, чуть помедлил, потом сказал тихо, но внятно:

— Жить будем, Вадя. — Руки он не подал. Ему, видно, хотелось остаться в друге не движением — словом. — Везде жить будем. Надо жить.

Отец же Георгий потянулся к нему, поцеловал трижды, перекрестил:

— Храни вас Бог!.. К вам от меня придут, не удивляйтесь...

Их никто не торопил. Даже санитар из приемного покоя. Видно, все если и не понимали, то чувствовали, что сейчас здесь происходит что-то такое, чему нельзя, да и невозможно помешать. Они двинулись к выходу сами и, как-то не сговариваясь, разом. И в этом опять-таки проявилась их пусть мимолетная, но власть над окружающим.

Дежурный санитар дядя Вася — мослатый, бритый наголо мужик из местных — пряча глаза, прямо-таки с почтением распахнул перед ними дверь. И они вышли, и людской полукруг медленно сомкнулся около выхода.

Но едва дядя Вася потянул дверь на себя, чтобы захлопнуть ее, как снаружи в отделение, сияя улыбкой, которой только уши мешали раздвинуться шире, рыжим бесом скользнул Бочкарев. Размахивая над головой пачкой свежих газет, злополучный богоборец упоенно возопил:

— Потрясающая новость, товарищи! Труженики Кореновского района Кубани на три дня раньше срока завершили весенний сев зерновых!..

Полукруг молчаливо обтек его со всех сторон и он, постигая непоправимое, осекся и затравленным глазом повел в сторону дяди Васи. Тот, побагровев, отвернулся, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из круга не выступил старожил отделения, хронический алкоголик Пал Палыч Шутов и не разрядил в слове готовую взорваться злобу:

— Сука ты сука, Бочкарев, и другого названия тебе нету. И как только земля тебя по себе носит, Бочкарев? Каких людей на золу переводят, а ты коптишь, другим свет застишь. Поимей совесть, сойди сам с земли, хоть одно дело людское сделаешь... Тьфу!..

Плевков у Пал Палыча получился смачный, мастерской. Сразу было видно, что человек всю свою жизнь закуску считал баловством. Затем он в сердцах махнул рукой и двинулся к себе, в дальний угол четвертой палаты. Остальные тоже стронулись с места, и каждый пошел в свою сторону. И в этот день уже никакое солнце не могло вытянуть людей из-под их одеял.

XI

В тот же день к вечеру тетя Падла привела в палату нового для Вадима соседа.

— Вот, — хмуро подтолкнула она того вперед себя, — лучше не нашла. Ума невеликого, зато тихий. И работающий опять же. Принимай. Горшков — фамилия. Остальное сам обскажет.

Мужик был худ, сед, встрепан, но все в нем — выпуклые глаза, расплывчатые морщины на лице, кое-как высеянная по лицу мягонькая растительность — было отмечено располагающим к нему дружелюбием. Застилая койку, он певуче гудел себе под нос:

— Ново место, как невеста: не уластишь, не согреет. По соседству со мной муха и та зимы не знает. Закон моря: твое-мое и мое-мое, заживем, лучше некуда. А уж мастер я — на все остёр. Из ветоши сапоги валяю, в баранках дырки гвоздем долблю. Только держись.

Действовал Горшков с деловитой твердостью человека, привыкшего в любой работе находить особое, одному ему понятное удовольствие. Приятно было смотреть, как упруго, без единой морщинки, вытягивается под его рукой простыня, облегает вдоль матраца, по всем правилам казарменной выучки, одеяло, взбухает белым лебедем жесткая больничная подушка. Вадим не утерпел в конце концов, съязвил добродушно:

— Подумать можно, ты всю жизнь этим и занимался.

— Оно так и есть, браток, — словоохотливо оборотился к нему тот. — С тридцатого года, почитай, как с земли согнали, по вербовкам пошел. Опосля война — опять на нарах. А в пленту, — он так и произносил: «пленту», — само собой, в бараке. В свой лагерь попал, сам знаешь, там во всем порядок начальство требуют. Теперичи вот, по больницам восьмой годок. Коечка — мать родная, ты только оборудуй ее соответственно.

Затем он стремительно исчез и снова появился вскоре, но уже со шваброй в руках, так что через несколько минут линолеумовый пол палаты солнечно дымился, высыхая в сквозняке полуоткрытых фрамуг. Стоило ему взяться за колченогую тумбочку между кроватями, которую только и оставалось, что выбросить, как она вскоре приобрела устойчивость и вполне сносную оснастку, и все это с байкой, с прибауткой, будто бы каж-

дое движение его требовало выхода в звуке, в слове, иначе оно — это движение — теряло для Горшкова свой смысл и законченность:

— Эх, мать моя, мамочка, бросила бы ты меня камушком во чисто полюшко, не было бы горяшка... Как у нас на фронту старшой говаривал: «Магазин не чищен, в канале ствола копоть, отсюда и вша»... Чистота — залог здоровья... Эх, ручки мерзнуть, ножки зябнуть!..

«Что держит таких людей? — следя за деятельным мельтешением Горшкова, думал Вадим. — Как они ухитряются не сломаться после всего пережитого? Ведь это трехжильным надо быть, чтобы такое выдержать!»

В этом таился какой-то непостижимый еще для него секрет, какая-то за семью печатями загадка, постичь которые ему только предстояло. Но об одном он мог уже и сейчас судить определенно: пройди Горшков еще три раза по стольку, все его останется при нем, и никакая сила в мире не способна сломать его человеческой сути.

В палату снова заглянула тетя Падла, удовлетворенно хмыкнула:

— Говорила, довольны будете. Он у вас здесь за трех санитаров работает. К его бы рукам да еще и голове!

— Не скажи, кума, — весело огрызнулся тот, — голова голове — рознь. Одна голова для умственного соображения, а другая для дела. Вот и прикидывай, что — к чему.

— Мели, Емеля! — Она лишь беззлобно рукой махнула в его сторону и оборотилась к Вадиму: — К Петру Петровичу вас. Зовет. — И уже строже: — Со мной и пойдете.

Вызовы такого рода случались здесь редко, чаще всего по делам, отлагательства не терпящим, а потому Вадима дважды уговаривать не пришлось. В следующую минуту он уже чуть не бегом неся по коридору к двери с заветной табличкой. Предположения, причем

самые фантастические, одно за другим сменялись в его голове: «Деду разрешили опеку? Или, может, жена смиростивилась? А вдруг...» Об этом «вдруг» даже думать не хотелось, до того жутким и невероятным оно ему показалось.

Тетя Падла нагнала его по дороге, тяжело задышала у плеча:

— Вы с ним поосторожнее нынче... Не в себе он малость... Он у нас всякий бывает... Попадет вожжа под хвост, не удержишь... Ну, — она отперла дверь, впустив его, — с Богом!

Доктор даже головы не повернул к нему навстречу, а лишь неопределенно махнул рукой, что, наверное, должно было означать нечто вроде приглашения садиться. Известный всему отделению блокнотик лежал сбоку от него не раскрытым. Наглухо завинченная щегольская авторучка сиротливо красовалась в карандашном стакане. Признаки это все были недобрые, и, опускаясь на стул около двери, Вадим приготовился к худшему.

— Послушайте, — все так же не поворачивая к нему лица, заговорил заведующий, — вы, как видно, тоже считаете меня мерзавцем?.. Вполне возможно... Но, может быть, — он резко, всем корпусом вывернувшись в сторону гостя, и лишь тут до Вадима дошло, что доктор глухо и матеро пьян, — вы мне скажете, уважаемый Вадим Викторович, что я мог сделать для него?.. Я не баррикадный боец, увольте! В Пеште, кстати сказать, мы вместе с ним сметали эти самые баррикады с лица земли... Тогда его не мучила совесть и он не вспоминал о Спасителе... Раненых добивали на месте... Мальчишек добивали... Им по пятнадцати-то едва ли было... А теперь один я кругом сволочь... А он — агнец с терновым венцом вокруг макушки... Аскезу принял, а мирского суда боится... Хочет на казенных харчах крест нести да еще и не в одиночку, а скопом, со всеми вместе... Комфортабельного мученичества жаждет!

Ладно. — Он рывком взял на себя ящик стола, достал оттуда папку и, беспорядочно перелистав её, высвободил из неё пачку документов. — Вот здесь всё ваше: паспорт, военный билет, трудовая книжка, удостоверение личности... С завтрашнего дня я записываю вам в журнал свободный выход для свиданий... Куда и когда вы уйдёте, меня не интересует... Хочу только предупредить: искать вас будут. И основательно искать...

— А вы как?

— А это не ваша забота, Вадим Викторович. — В совиных глазах его на мгновение засквозила колючая трезвость. — О себе я позабочусь сам. — Он ладонью придвинул документы на самый край стола. — Берите свои цацки... Или, может быть, вы тоже по святости стосковались?

— Дело не в этом, но, согласитесь, покупать свободу за чужой счет...

— Ох уж эти мне творческие особы! Слова в простоте не скажут... Пусть вас не мучит совесть. Или, как выражается Марк Францевич, спите спокойно, дорогой товарищ... Берите...

Угрюмая усмешка на узком лице доктора становилась все более вызывающей. И если еще минуту назад Вадим готов был отказаться, избежать соблазна, то усмешка эта мгновенно изменила его намерения. Будь, что будет! Рано сдаваться на милость неизвестного дяди. Он еще побарахтается, прежде чем ему — Вадиму Лашкову — устроят узаконенное заклание.

Бешеная сила протеста подняла его с места и бросила к столу. И в тот момент, когда документы оказались у него в кармане, он сразу же осознал, что уже решил, что назад ему пути нет и что это его единственный шанс выбраться отсюда.

Провожая его до двери, Петр Петрович пьяно хохотнул у него над ухом:

— Я, может, тоже скоро сбегу... В пространство...

Вадиму не пришлось ответить, дверь захлопнулась

за ним и он оказался лицом к лицу с тетей Падлой, которая, вопросительно вскинув на него отечные глаза, чуть слышно помолила:

— Ты уж не звони слишком... С кем не бывает...

— Не маленький...

Потянуло курить, и он подался в уборную, где уже орудовал Горшков, старательно выскребая замызганные унитазаы. Появление Вадима лишь прибавило ему рвения и словоохотливости:

— На хрусталь блеск наводим, чтоб опорожнялся — сердце радовалось... Из отхожего места кибинет оборудуем. Сиди — не хочу!

— Не надоело?

— От безделья думы разные, а от думы человека вошь ест. А в деле, как в запое, самые паршивые тебе роднее матери.

— На таких, как ты, воду возят.

— Так-то оно, может, и так. Да ведь и сам напьешься...

Вадим глубоко затянулся и, с наслаждением выпуская дым, подумал обескураженно: «И сколько их еще в России чудаков этих, тьма!»

XII

Галки над прогулочным двором горланили весну. Конец апреля выдался на редкость безоблачным и теплым. Почки корявых тополей вдоль заборов бесшумно взрывались крохотными язычками зеленого пламени. Из-под седых островков ноздреватого снега во все стороны расплывались влажные подтеки.

Петр Петрович исполнил-таки обещанное: в день приезда Татьяны Вадима впервые выпустили из отделения без присмотра. Выйдя в прогулочный двор, они долго молчали, не зная, с чего начать. Слишком уж многое вставало теперь между ними.

И хотя Вадим заранее предвидел весь ход своего последнего объяснения с женой, разговор начался куда неприятнее, чем он предполагал. Для Татьяны смысл его объяснений свелся к разводу. Соответственно с этим та себя и повела.

— Что ж, — оскорбленно подобралась она, предпочитая нападение защите, — этого мне надо было ожидать. При твоём образе существования... Попойки, случайные связи... Исковеркать жизнь человеку, это в твоём стиле. А я-то жду! — У нее была удивительная особенность верить тому, что она говорила. — Лучшие годы, молодость отдала... Жила, словно монахиня... Но и я так просто не отступлюсь. Квартиры ты не получишь... Ты ни на что не имеешь права... Ты недееспособен, милый. Ни один суд не станет на твою сторону.

— Ты можешь слушать?

— Тебя — нет.

— И все-таки, я прошу.

— Ты снова хочешь, чтобы я терпела твоё пьянство и твои сумасшедшие выходы в квартире, — я хочу хоть какое-то подобие порядка.

— Успокойся, — Вадим поспешил предупредить ее, уже готовую разразиться слезной истерикой. — Тебя никто не гонит. Если ты поможешь мне уйти отсюда, я возьму только пару белья и рубашку.

— Значит, рай в шалаше? — Жалкой усмешкой она тщетно пыталась скрыть свою обескураженность. — Не поздно ли, Вадим Викторович?.. И что же, молодая, красивая? — Влажные губы ее мстительно вытянулись в тонкую ниточку: предпочтение, оказанное другой, было выше ее понимания. — Видно, с приданым? — Манера разговаривать вопросами выражала в ней высокую степень раздражения. — Дача? Машина?

Но если раньше все ее подобного рода речи доводили Вадима до дикого бешенства, то теперь, слушая жену, он оставался устало равнодушным и лишь никак не мог взять в толк, как ему удавалось чуть не де-

сять лет терпеть эту женщину рядом с собой, мирясь с вьезшейся в нее чуть ли не со дня рождения мелочностью и фальшью. Фальшиво в ней было все: голос, походка, речь; казалось, сто́ит ей сделать хоть одно естественное движение, как она исчезнет, растворится, изойдет в этом движении полностью, без остатка, — до того предельно невыносимым выглядело для нее всякое человеческое проявление.

— Оставь эту самодеятельность хотя бы на сегодня.

— Ну, конечно, где мне, ты же профессионал.

— Ты неисправима.

— Влияние близких?

— Я отдал тебе не худшую свою часть.

— На тебе, Боже...

— Мы прожили с тобой несколько лет. — Со спокойной целеустремленностью он старался пробиться к её сознанию. — Прямо скажем, — лишних лет. Но вот сейчас, когда всё кончается, можем вести себя друг с другом по-людски.

— Вот и объясни мне по-людски, без фантазий, свои фокусы.

— Я вовсе не шучу. Мне хочется начать другую жизнь... Попробую еще раз...

— С другой бабой?

— Таня! — Он уже потерял надежду разбудить в ней хоть проблеск взаимопонимания, но решимость не оставлять здесь после себя ничего недоговоренного взяла верх. — Будь хоть раз в жизни человеком. Наверное, я был во многом неправ, но ведь и ты не всегда поступала правильно. Поэтому не будем сводить счеты, а расстанемся людьми... Я клянусь тебе, что это не блажь... Неужели меня так трудно понять?

Ожесточенная настороженность в её темных, гремучей желтизны глазах оттаивала, уступая место растерянному недоумению.

— Ты сумасшедший, — она медленно приближалась к нему, пристально, словно впервые узнавая, раз-

глядывала его, — да, да, ты, видно, и вправду сумасшедший... И как я не замечала этого до сих пор! Куда тебя несет, Вадим? Что с тобой?

— По-моему, как говорится, я прекрасно болен. И, прошу тебя, помоги мне...

— Я никогда не могла понять тебя.

— Тебе было некогда.

— При твоём образе жизни...

— Эх, Таня, при любом образе жизни за десять лет можно успеть понять друг друга.

— Слова — твоё професси́я.

— Не мои — чужие, Таня, чужие слова...

— Хорошо, — неуверенно пообещала она, — я посоветуюсь с мамой.

Охота разговаривать у Вадима сразу же отпала. Она так ничего и не поняла. Сейчас жена не вызывала у него даже раздражения. Он скорее жалел её, как жалуют калек и убогих. Они жили в разных измерениях и поэтому не могли постичь один другого. Теща в два счёта обуздает этот её благой полупорыв. Так неужели у него нет выхода? Неужели и ему выпадет та же участь, что и тем, которых он уже встречал однажды, там, на Байкале?

В ту осень судьба забросила его в глухое приозерное село с бригадой Иркутской филармонии. Приехали они в полдень, времени до концерта оставалось много, и председатель сельсовета повел заезжих артистов вдоль просторных, но не богатых своих владений. С Байкала тянуло зябким сквознячком, серое небо облегалo деревню низко и плотно, и, видно, оттого дома и хозяйственные строения на безлесых улицах выглядели как бы приплюснутыми к самой земле. Наскоро обежав полупустой в это время года рыбзавод, они двинулись было к чайной, но здесь, в просвете между окраинными домами, перед ними по гребню берегового взгорья выявились источенные временем стены заброшенного монастыря. Председатель — вялый му-

жичок, с лицом, тронутым зеленью пороховой сыпи, перехватив незапланированное им внимание гостей, тревожно засуетился:

— Пустяк — дело! Психколония тут у нас с летошнего года. Никакого интересу, одни адиоты. Зато в чайной у нас, — без перехода заторопил он, — омуль прямо из сети. Закусь — перьвый сорт.

Актерская братия следом за председателем потянулась в сторону чайной. Что-то, Вадим еще не мог определить, что именно — предчувствие, зов ли — остановило его и он, отколовшись от остальных, решительно повернул к монастырю. Его пытались было окликнуть, но он только отмахнулся раздраженно и уже более на оклики не оборачивался.

Через пролом в стене, служивший одновременно и проходной и парадным въездом, Вадим вошел в затянутый ржавой проволокой монастырский двор. Узенькие, едва протоптанные тропинки крест-накрест соединяли обрубленную по самые капители и крытую старым железом церковь с двумя угрюмого вида жилыми строениями и часовенкой около входа. Из часовенки навстречу ему вышел носатый и заметно хмельной бородач в старом кожаном реглане внакидку и, вместо приветствия, безапелляционно утвердил:

— Корреспондент! Завхоз Бабийчук. Пошли.

Бывшие кельи, в которых размещалось по четыре койки, носили следы недавнего ремонта. Но из матерых щелей кое-как покрашенного пола сквозило ознобчивой сыростью подполья, а собранные на живую нитку оконные рамы издавали под ветром звучное дребезжание. Вадиму нетрудно было представить, каково придется здешним обитателям лютой прибайкальской зимой.

Бабийчук же, хмельно посапывая, развязно, словно бывалый экскурсовод в краеведческом музее, давал ему пространные пояснения:

— Заботу о людях проявляем повседневную. Ремонт произвели, завезли топлива. Калорийность пита-

ния по норме. К зимовке готовы целиком и полностью. Прошу обследовать пищеблок.

В церкви, приспособленной под столовую, обедало всего несколько человек.

— Ведем набор, — с готовностью удовлетворил его вопросительное недоумение завхоз, — ждем еще одну партию. К зиме полностью укомплектуем контингент.

Никто из обедавших, занятых едой, даже не повернул головы в их сторону. Еда поглощала все внимание невольных сотрапезников. Напрасно вглядывался Вадим в эти лица, ища хоть проблеска внимания или осмысленности. Лица проплывали у него перед глазами одно за другим — тупые, отрешенные и как бы полые изнутри: природа изваяла их, не вдохнув в них ничего, кроме инстинктов.

И лишь когда он повернул к выходу, в простенке между дверью и боковым окном, профилем к нему, неожиданно возник человек с обликом, отмеченным тихой и долгой печалью. Он смотрел в упор на Вадима, но явно не видел его. Человек как бы вглядывался в свою, обозримую для него одного, даль внутри себя, и она — эта даль — виделась ему глубоко безрадостной и достойной сожаления.

— Здравствуйте. — Сразу же располагаясь к нему, остановился против него Вадим. — Давно вы здесь?

Тот лишь беспомощно посветил ему навстречу беззащитной улыбкой и не ответил. Подоспевший Бабийчук насмешливо хрюкнул:

— Без пользы. Молчун. По истории, пятый год молчит.

Во дворе завхоз без обиняков предложил:

— Может, погреемся, корреспондент? У меня есть. И омулек найдется.

— Я не корреспондент, — жестко разочаровал его Вадим, — я — артист.

Бабийчук тут же потерял к нему всякий интерес.

Подаваясь к часовенке, он пренебрежительно пробурчал в бороду:

— Тогда и ходить нечего. Тут не ярманка, а лечебное заведение. Ишь, артист!

Выходя с монастырского двора, Вадим уносил в себе отсвет той странной улыбки, которой поделился с ним молчаливый обитатель этого забытого Богом и людьми места. И сейчас, когда жизнь уготовала Вадиму ту же участь, он вдруг понял, что ему, как и тому самому молчуну в церкви, не о чем говорить с кем бы то ни было из потустороннего теперь для него мира, тем более со своей бывшей женой. Они просто-напросто уже не могли слышать друг друга.

— Прощай.

— Прощай.

Возникшее сразу вслед за этим молчание, помимо их воли, растворило недавнюю их враждебность, и, когда Вадим, уходя в отделение, замешкался на пороге, она порывисто приникла к нему, горестно прошептала:

— Видно, я все-таки любила тебя... Легкий ты человек...

Татьяна даже вроде бы потянулась за ним через порог, и в этом ее инстинктивном движении Вадиму открылась какая-то закономерность, черта особая какая-то, характерная для всех его последних встреч. Люди, с которыми он сходил в эти дни, — доктор, Крепс, отец Георгий, Мороз — прощаясь с ним, словно бы завидовали ему, словно бы хоронили в нем, в его спокойствии собственную несостоявшуюся надежду изменить свою жизнь: «Духу, духу не хватает привычный круг разорвать!»

И словно бы соглашаясь с ним, галки над прогулочным двором неожиданно умолкли, и, лишь сделав шаг от порога, он осознал, что птицы здесь не при чем: просто за ним захлопнулась дверь.

XIII

Суматоха среди персонала началась исподволь и сначала не обратила на себя внимания. Беготня санитаров случалась часто и по множеству поводов: то вязали впавшего в буйство, то требовалась помощь мужских рук во время совершения пункции, то надо было по-быстрому сплавить из отделения очередного доходягу. Не коснулась бы она никого и на этот раз, если бы в отделении не появился сам главный врач больницы Тульчинский в сопровождении многочисленной свиты управленческого персонала. Минуя палаты, высокие гости проследовали прямо в кабинет заведующего. И в этой их торжественной поспешности чувствовалось что-то предостерегающее.

Отделение взволнованно загудело:

— Комиссия!

— Активировать будут!

— Конференция у них, кого-нибудь выдернут для показа.

— Может, сбежал кто?

— Да нет, вроде все на месте.

— Не иначе как «чепе».

— Надо думать, если такая орава пожаловала.

Бочкарев и тут не остался в стороне от событий. Вскочив на коридорную скамью, он трубно провозгласил:

— Товарищи, без паники! Всем оставаться на своих местах! Враги социализма во всем мире не дремлют! Сплотим ряды. В единстве наша сила! Пусть заокеанские воротилы помнят, что на каждый удар мы ответим двойным ударом! Возмездие...

В этом духе он мог бы, наверное, продолжать до второго пришествия, но резкий, с неожиданным надрывом голос тети Падлы прервал его словоизвержение:

— А ну по палатам!.. Все по палатам!.. Чтобы ни одного в коридоре не было! Дядя Вася, загоняй! Мать Васильна, держи своих!

Когда, стараниями санитаров, коридор опустел, из кабинета вынесли носилки. По зеркально блистающим ботинкам, что торчали из-под простыни, и недвижному птичьему профилю под ней не трудно было узнать Петра Петровича. Пола его халата свисала с боковой опоры, и где-то на полпути к выходу оттуда выпала, чуть слышно шлепнувшись об пол, та самая записная книжка доктора, с которой тот никогда не расставался. В общей суматохе этого никто не заметил. И лишь Вадим, с обостренным вниманием следивший за каждой, даже самой малой деталью скорбного шествия, уже не спускал с нее — с этой книжечки — глаз.

Как только процессия, следом за носилками, стекла в двери и в коридор отделения изо всех палат хлынули его взволнованные случившимся обитатели, докторский блокнотик мгновенно оказался в кармане у Вадима.

Все в коридоре гудело и перемешалось. Предположения возникали одно за другим:

— Сердце, видать, не сработало!

— Попивал, говорят.

— Опился!

— Вот тебе и Петр Петрович, вот тебе и доктор.

— Доктор, так святой, что ли?

— Кого теперь еще принесет к нам на нашу голову!

— Свято место пусто не бывает.

— И то правда...

Первым, благодаря своей дружбе с обслугой, обо всем доподлинно узнал Горшков. Улучив минуту, он поманил Вадима к своей койке и шепотной скороговоркой сообщил:

— Доктор-то... Петр Петрович... Того... Сам себя порешил. Вот какие дела... Порошками...

Не свойственная ему ранее растерянность букваль-

но преобразила его. Перед Вадимом, исходя тоскливым томлением, переминался с ноги на ногу старый и давным-давно раздавленный жизнью человек с пепельно-серым, опутанным частой паутиной морщин лицом.

— Надо думать, — искренне посочувствовал ему Вадим, — не впервой тебе?

— Да было... Видал... Не единожды... Только каждый раз все муторнее... Уж коли такие, чего ж тогда мне-то делать? Хоть сейчас в петлю.

Сгорбившись и заложив руки за спину, он медленно пошаркал между коек к окну и застыл там недвижно, как бы отгородив себя от всего того, что происходило у него за спиной.

В уборной Вадим неожиданно столкнулся с Ткаченко. Тот, никогда до этого не куривший, задумчиво втягивал в себя дым дешевой сигареты.

— Удивляетесь? — Судя по тону, каким был задан вопрос, старик тоже знал обо всем. — В лагере я курил. Иногда облегчает. Тем более, что я, кажется, решил. — Впалые щеки его, втягивая дым, ходили ходуном. — От себя нигде не отсидишься. Там все-таки со мною рядом будет родная душа... И кто знает, может быть, её можно унести на подошве своих башмаков... эту самую родину. Слишком мало от нее осталось.

— Я рад за вас.

— Вы это серьезно?

— Вполне.

— Спасибо. Только еще выпустят ли?

— Но ведь обещали. Какой тогда смысл пересылать вам посольскую бумагу?

— Ах, молодой человек, молодой человек, вы еще очень плохо знаете свое государство. — Поднимаясь, старик аккуратно погасил окуроч, бросил его в мусорницу и шагнул через порог. — Обещали! Они много чего вам всем обещали. Вам! А я так для них вообще не в счет...

Мимо курилки, еле двигая валенками, прошла тетя

Падла и каждый шаг её был отмечен тяжестью и апатией. Кто-то в дымном чаду посожалел ей вслед:

— Переживает.

Голоса из разных углов поддерживали:

— Сломалась баба.

— Еще после Телегина.

— А теперь совсем.

Поздним вечером, забившись подальше от любопытных глаз и воровато оглядываясь, Вадим вынул из кармана и перелистал записную книжицу покойного доктора. И что-то оборвалось в нем сразу, обуглилось: все сто двадцать листочков в мелкую клеточку оказались девственно, без единой отметины, чисты: «Кинул ты мне, Петр Петрович, на прощанье камушек из-за пазухи!»

XIV

В это субботнее утро Вадим проснулся с явственным предчувствием события. Это ощущение не покидало Вадима в течение всего утра, и когда, вскоре после обеда, из коридора выкликнули его фамилию, он, не стесняясь, опрометью бросился к выходу. В прогулочный двор его выпустила сама тетя Падла, хмуро понапутствовав его с порога:

— Особо не разгуливай. Время позднее.

Ломкие листья тополей, оттененные резким предвечерним солнцем, чуть слышно позванивали вдоль круговой дорожки, и это грустное их позванивание сопровождало Вадима от самого порога.

Он увидел Наташу сразу, едва выйдя в прогулочный двор. Она стояла спиной к нему в самом углу сада, и ветер, устремляя вперед подол ее зеленого пальтеца, ваял из нее что-то летящее и невесомое. Стук садовой щеколды заставил девушку вопросительно обернуться, взгляд ее остановился на нем, и вот она уже зовуще потянулась к нему, но с места не сошла, а только едва заметно кивнула: «Я — здесь».

— Я ждал вас, Наташа, — от волнения он еле выговаривал слова, — знал, что вы придете.

— Вас папа предупредил?

— Он не сказал кто, но я верил, что это будете вы.

— Меня папа просил.

— Спасибо.

— Я к вам по делу.

— Все равно спасибо.

Кущее дворовое солнце уже стягивалось к едва оперившимся вершинам тополей. Наташа, зябко поеживаясь, втягивала худенькую шею в воротник пальто и судорожно позевывала. И все в ней, от дешевых «лодочек» до легонькой косынки над упрямой чёлкой, вызывало сейчас в Вадиме чувство пронзительной, чуть ли не обморочной жалости. Но ничто в ее облике не располагало к ответному движению. Его словно бы и не было рядом с ней вовсе. Уйди он, она бы и не заметила, продолжая все так же судорожно позевывать и зябко втягивать худенькую шею в воротник пальто.

— Замерзли? — трепетно коснулся он её локтя. — Может, походим?

Она покорно двинулась рядом с ним. После недолгого молчания сказала, словно сама все давно за него решила:

— Уйти вам надо отсюда.

— Куда, Наташа?

— У папы еще живы родители. И отец, и мать. — В её деловитости было что-то трогательное. — Под Москвой живут. Почти в самом лесу. У них и отсидитесь, пока искать перестанут.

— Это что же, Егор Николаевич придумал?

— Да, он.

— В моей униформе дальше первого встречного не уйдешь.

— Нюра поможет. У неё дома папины летние вещи. Вы с ним почти одного роста. Нюра...

— Тетя Падла! — Его даже в жар бросило. — Сама тетя Падла?

— Нюра! — строго повторила девушка и осуждающе посмотрела на него. — Нюра вас и выпустит ночью.

— Не заблудиться бы, — его уже била лихорадка предстоящего побега, — село большое.

— Нюрин дом прямо на повороте к шоссе, окна с зелеными наличниками. На электричку не садитесь, голосуйте при дороге, довезут... Только не забудьте: Кривоколенный шестнадцать, квартира шесть...

И словно боясь, что он сможет удержать её, она почти побежала наискосок через двор к калитке, ведущей в отделение. Вадим машинально сделал несколько шагов за ней и долго еще смотрел вслед маячившей сквозь листву кустарника вдоль изгороди быстрой фигурке девушки, какую — что там скрывать! — он уже любил тихо и благодарно.

.

Время текло с мучительной медлительностью. О сне, хотя бы коротком, нечего было и думать. С усилием смежив веки, лежал Вадим, чутко прислушиваясь к окружающему. Вот дежурный санитар не спеша обошел палату, пересчитывая своих подопечных. Вот, с кряхтением повозившись, затих его сосед по койке Горшков. Вот едва слышно — раз, два, три, — переключнулись выключатели. Матовые контрольные лампочки сгустили полутьму до предела. Тишину прерывали только храп и бредовое бормотание в разных углах палаты.

— Лашков! — скорее выдохнула, чем сказала старшая сестра, легонько теребя его за плечо. — Пошли.

Мимо спящего на лавочке санитаря, по едва освещенному коридору тетя Падла провела Вадима в кабинет заведующего. Окно в кабинете было полуоткрыто. На резком свете потолочного плафона лицо Нюры выглядело еще более отечным и вытянутым. Но боль-

шие темные глаза её навывкате были тронуты горькой и неизбывной грустью, и, раз взглянув в них, Вадим признался себе, что и здесь рязанский мужик Митяй Телегин оказался внимательней и прозорливей его.

— Прощай, Нюра, — растроганно потянулся он к ней. — Спасибо тебе.

— Дома не перепутай, — без выражения ответила она. — У меня еще конек на крыше и калитка не закрывается. Огонек в сенцах горит. Ждут тебя.

Звездная ночь приняла Вадима и он двинулся в сторону шоссе, на тот самый огонек, где кто-то, ожидая его, тревожно бодрствовал и, наверное, волновался...

На стук ему открыла старуха с зажженной керосиновой лампой в руке. Зоркими, не по возрасту молодыми глазами она сурово оглядела его с головы до ног и молча уступила дорогу, осветив ему табурет в углу, на котором была аккуратной стопкой сложена для него одежда. Она молча светила ему во время его переодевания, молча сунула пятерку в карман пиджака, молча проводила до двери и, лишь закрывая за ним, глухо прошелестела беззубым ртом:

— С Богом...

Долго голосовать ему не пришлось. Вскоре черная «Волга», надрывно взвизгнув тормозами, замерла у самых его подошв. Свет приборов осветил усталое лицо с красными от напряжения и бессонницы глазами:

— Садись... Только сзади, с хозяином.

Едва они тронулись с места, как темная громада рядом с Вадимом беспокойно задвигалась и крепкий настой круто замешанного винного перегара повеял в его сторону:

— Я, брат, человек широкий, добрый... Думаю, стоит человек, голосует, почему не подвезти... С дорогой душой... А я ведь, брат, не хер собачий... Комендантом Берлина был... Да и сейчас не в последних хожу... Но простоты не теряю... С народом держу связь... Народ меня любит... Вот на рыбалку в рыбхоз ездил... Как

отца родного встретили... Птичьего молока только не было... А ведь бывало с Гессом, как с тобой... Четыре раза в год... По положению... Прост тоже очень, даже жалко... Все свое партии завещал... Хоть и сукин сын, а человек порядочный...

Язык у него все более заплетался и, наконец, он, отвалившись в угол, гулко захрапел. Водитель молчал до самой Москвы, видно, излияния эти были ему не впервой. И только миновав городскую черту, слегка полуобернулся:

— Тебе где?

— Да все равно. Если можно, то поближе к Трубной.

— Довезу.

Больше он до самой Трубной площади не вымолвил ни слова. На деньги, протянутые Вадимом, даже не посмотрел, тронул с места.

— Самому пригодятся.

Ранним, едва зачатым утром, срезая углы, Вадим вышагивал по знакомым улицам, узнавая и не узнавая город, исхоженный, казалось, вдоль и поперек. Все, что раньше казалось знакомым и примелькавшимся, выглядело сейчас выпукло и рельефно: вывески, автоматы, будки регулировщиков. Он уже был не частью всего этого, а глядел вокруг как бы со стороны, как гость, который перед отъездом старается запомнить из увиденного побольше и поотчетливей, чтобы иметь о чем рассказать непосвященным.

XV

Она словно ждала его, не отходя от двери, до того мгновенным было её появление перед ним, едва он коснулся звонка. Горячее стеснение под сердцем мешало сложиться словам, Вадим с виноватой растерянностью топтался у порога. И девушка, словно желая помочь ему, заговорила первой:

— Здравствуйте, Вадим.

— Здравствуйте, Наташа... — Ему все еще не хватало воздуха. — Вот... Решился... Будь, что будет...

Опаляющая истома мгновенно обессилила его, ноги стали ватными, а мир перед глазами пошел кругом. С отчетливой живостью Вадим представил себя тем самым бакенщиком Егором, о каком ему столько раз приходилось рассказывать со сцены. Пожалуй, лишь в эту минуту Вадима по-настоящему постигла сладостная боль последнего шёпота Егоровой зазнобы: «Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...» И так-то ему захотелось вдруг, так потянуло оказаться сейчас где-нибудь за тридевять земель, на берегу любой, хоть самой заваливающей речёнки с этой тоненькой девочкой в крылатом ситчике, что сделай она теперь шаг, только шаг навстречу, и он рванулся бы к ней, подхватил её на руки, да уж и не опустил бы до самого последнего своего дня.

Но девушка отступила в глубь коридора, тихо выдохнув:

— Сюда...

В комнате, куда она пропустила его мимо себя, преобладали иконы и книги. Работа в киотах чувствовалась нестарая, но дельная. В книжном же царстве, властвовавшем здесь, Вадим, как ни вглядывался, так и не смог рассмотреть ни одного знакомого корешка.

— Это папина комната. Я все оставила, как есть. — Девушка пошла впереди него, приглашая его тем самым следовать за собой. — Это хорошо, что вы решились. Признаться, я тоже сначала побаивалась, не будет ли хуже... Вот дурочка... Может ли быть хуже?

Комната её была полной противоположностью отцовской. Тахта, укрытая пледом, выдавший виды письменный стол у окна, стул при нем и старенькое креслице составляли всю её меблировку. В этой непритязательности не чувствовалось ничего подчеркнутого. Каждая вещь здесь отвечала строгой необходимости и только. Когда Вадим вошел сюда, ему, как это иногда слу-

чается с людьми впечатлительными, до поразительной детальности пригрезилось, что он уже был тут когда-то, именно в этой комнате, небрежно обставленной случайной мебелью.

— У вас, как в келье, Натали. — С усилием освобождаясь от наваждения, он опустил в кресло. — Ничего девичьего.

— Не люблю лишнего хлама, — брезгливо поморщилась она, — возни много. Вам не нравится?

— Наоборот. У меня просто времени не было приходить к бараклу. Всегда на перекладных.

— Теперь все будет по-другому.

— Вывезет ли?

— Должно вывезти.

— У вас, в отличие от меня, много времени впереди.

— Каждый отсчитывает время по-своему.

Было в ней — в её скупых движениях, взгляде без улыбки, манере говорить медленно и отрывисто — что-то такое, перед чем Вадим, забывая о своем против нее возрасте, испытывал жаркую, почти мальчишескую робость:

— У меня к вам просьба, Натали, — мысль обожгла его внезапно, но ему уже казалось, что он думал об этом с самой первой их встречи, — будьте со мной в день отъезда.

— Я сама довезу вас до места.

— Знали бы вы, как я вам благодарен.

— Обязательно довезу. Без меня вы там заблудитесь.

В домашнем ситчике, в сумерках, она казалась тихой бабочкой, устало сложившей пестрые крылья. Немалых усилий стоило Вадиму побороть в себе искушение — взять её на руки и бережно носить по комнате, пока она не уснет.

Она вздохнула:

— Если бы у вас все состоялось!

- Я буду стараться. Я буду очень стараться.
- Для меня, наверное, это еще важнее, чем для вас.
- Значит, мне придется стараться вдвойне.
- Я — серьезно.
- И я.
- Спасибо.
- Натали.

Они еще не сказали друг другу самых главных, самых существенных слов, но душевная общность уже озарила перед ними прошлое и будущее, тень и свет, проникнув их знанием сущности окружающего и надеждой:

— Может быть, это продлится долго, очень долго, Натали.

- Разве это важно?
- Для меня — нет.
- Для меня — тоже.
- А если меня все же найдут?
- Это еще не конец.
- А что же это?
- Можно попытаться еще раз.
- Будет уже поздно.
- Разве когда-нибудь бывает поздно?
- Вы мне — как подарок...
- Еще пожалеете.
- Никогда.
- Не зарекайтесь.
- Я все же зарекаюсь.
- Вот как?
- Да. — И еще тверже: — Да.

Темь холодными звездами заглядывала в окна, располагая к долгому молчанию, и они замолчали, но и в безмолвии между ними продолжался тот самый разговор, которому, сколько существует мир, нет и не будет конца. В темноте Вадим осторожно коснулся её плеча и оно обмякло под его рукой и подалось к нему навстречу. Жаркий туман поплыл перед его глазами

и он, почти задохнувшись от волнения, привлек девушку к себе:

- Милая...
- Зачем я тебе?
- Жизнь моя...
- Боюсь я.
- Чего?
- Ненадолго это.
- Навсегда!
- Это тебе сейчас кажется.
- Всегда будет казаться.
- Смотри.
- Люблю тебя.
- И я... Сразу... Как увидела...
- Ната...

Они очнулись, когда за окном в рассветном мареве тихой зеленыю светились майские тополя, через которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многооконных коробок уже стоит в ожидании его — Вадима, нетерпеливо подраживая белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился.

— Подъём, Ната! Смотри, утро-то какое!

Не поднимая век, она улыбочиво кивнула и медленно потянулась к нему, утыкаясь теплым лбом в его плечо:

— Еще немного. Успеем...

Но вскоре она уже громыкала на кухне посудой, стряпая на скорую руку завтрак, и, одеваясь, Вадим все еще никак не мог опомниться от случившейся в его судьбе удивительной перемены: «Будто во сне, — ей-Богу!»

Пронизанное зябким солнцем раннее утро высветило перед ним овеванную первым тополиным пухом

пустынную улицу, и они, не раздумывая более, двинулись по ней — по этой улице — к первой же остановке, ведущей к трем вокзалам.

XVI

Когда после вокзальной сутолоки они, сев в электричку, оказались друг против друга и, наконец, встретились глазами, в них вошла полная мера того, что их теперь объединяло. Все пережитое показалось им сейчас тяжелым и уже отлетевшим сном. Другая жизнь, еще неведомая, но заманчивая самой своей новизной, ждала их впереди. Они сидели друг против друга, взявшись за руки, и все, что творилось вокруг, — давка, ругань, смех, плач, — не существовало для них. В мире сейчас были только они двое. Только они двое — и никого больше.

Потом они шли через лес. Одурающий запах его по-майски клейкой поросли кружил им головы, и робкие травы стекались к их тропам, стряхивая под ноги свои первые росы. На ум им приходили первые попавшиеся слова, но в каждое из этих слов они вкладывали свой, понятный только им двоим смысл:

— Давно я в лесу не был.

— И я.

— Смотри, какой нарост на березе! Будто львиная грива.

— Скорее черепаха под панцирем.

— У тебя есть глаз.

— Я способная.

— Скромничаешь?

— Ага...

Сквозь рябой частокол берез появилась блистающая зеркальной поверхностью речная полоска, и вскоре внизу перед ними показалась паромная пристань с несколькими строениями торгового типа вдоль берега.

— Ну вот, — облегченно вздохнула она и заспешила вниз, — переедем, а там совсем близко.

— Как снег на голову.

— Они привыкли. Даже рады будут.

Около пивного ларька на берегу их остановил жиденький старичок с веселыми кроличьими глазами.

— Вижу, только поженившись, дай, думаю, попрошу двугривенный. — Его радушная откровенность обезоруживала. — А для ровного счета, — подмигнул он медленным веком, видя, что Вадим потянулся в карман, — двадцать две. Точь-в-точь на целую.

Вадим дал полтинник. Старичок не выразил удивления, понимая взмахнул сухонькой ладошкой: гуляешь, мол, парень, одобряю, мол. Затем вежливенько коснулся кепочки и моментально ввинтил себя в шумный омут у ларька.

Случайный дед этот и вернул их к текущим заботам. Перед ними вдруг сразу обозначилась галдящая толпа у переправы, где каждый с головы до ног был во всеоружии сумок и свертков. Стало ясно, что их путь на тот берег будет совсем не простым, а в первый день за рекой определенно голодным. Поставив Наташу в очередь на паром, Вадим бросился в единственную на берегу продовольственную палатку, чтобы прикупить кой-чего из еды и питья. К прилавку Вадим пробился, растеряв по дороге добрую половину пиджачных пуговиц. Оказавшись лицом к лицу с распаренной от жары и ругани продавщицей, он бездумно бросил ей следом за скомканным червонцем:

— На все!

Реакция у той сработала безошибочно. Через мгновение перед ошеломленным Вадимом красовался «малый джентльменский набор» во всем своем неповторимом великолепии: две бутылки белой головки, две банки шпротов и плитка шоколада «Золотой ярлык». С этой добычей он и выскочил на берег, когда паром уже отваливал от причала.

Среди пестрого круговорота на пароме Вадим сразу же выделил костерок ее косынки и сердце его учащенно, с обморочными провалами забилося: «И за что только тебе этот подарок, старый чёрт!» Она же в свою очередь, заметив его, прощально ему замахала. И видно было, что игра эта ей нравилась, и он подыграл: опустившись на прибрежную траву, замахал ответно. Так они и махали друг другу, радуясь своей ребячьей выдумке, до того самого мгновения, пока кто-то, еще неизвестно кто, не сел рядом с ним. И, тут вроде бы еще и без причины, все в нем заглохло и оборвалось. Сосед еще только молча и натужно сопел рядом, а Вадим уже чувствовал, да какое там чувствовал! знал, что это — конец. Конец всему, что ожидало его на том берегу. И всему в его жизни вообще конец. Крепс оказался прав: ему уже теперь никуда от них не уйти. Его связь с ними становилась день ото дня все нерасторжимей. И тогда, даже не поворачивая головы, он намеренно грубо спросил:

— Можно, я выпью, начальник?

Ответ был почти дружелюбен, но от этого дружелюбия почему-то сразу закололо в кончиках пальцев:

— Пей, Лашков.

Привычным движением выбив пробку, Вадим стиснул зубами горлышко. Жгучая влага опалила гортань, но, вливаясь, не приносила с собой ни забытья, ни облегчения. Краем глаза он еще следил, как оттуда, с парома, Наташа все еще продолжала махать ему, даже не подозревая, что игра эта уже обернулась для них совсем не шуточным прощанием. Бутылка, так и не опьянив его, лишь добавила ожесточения. И тогда Вадим снова спросил со злым вызовом:

— Можно, вторую добыю, начальник?

Ответ прозвучал еще дружелюбнее:

— Добивай, Лашков.

Ах, сколько выпил он ее на своем веку, но никогда

еще она не оказывалась такой бессильной в соревновании с ним!

На удаляющемся пароме, над пестрым пятном толпы бился желтенький костерок Наташиной косынки и в воздухе прощально покачивалась ее ладошка. Он не выдержал и ответил ей. Жжение под сердцем сделалось нестерпимо удушливым, и тогда Вадим встал и, не оглядываясь, пошел вперед. Грузные шаги сопровождали его мерно и неотступно.

Вежливенько, но твердо подсаживаемый в машину, Вадим инстинктивно, уже ни на что не надеясь, потянулся взглядом в сторону реки. Паром уже причаливал к противоположному берегу, и едва ли на таком расстоянии он мог разглядеть, продолжает ли она махать ему, но в эту минуту он хотел в это верить, и поверил, поверил на всю последующую горькую свою жизнь. И прежде чем задняя дверь фургона захлопнулась за ним, он успел мысленно попрощаться с нею: «До свидания, Натали! Живи, родимая. Надо жить!»

Их отъезд от берега сопровождал залихватский наигрыш гармони, перекрытый пьяно-отчаянным тенорком:

По реке плывет топор
Из села Неверова.
И куда ж тебя несет,
Железяка херова?

ИЗ ЦИКЛА

«СНАЧАЛА КОЛЫМА. ПОТОМ МОРДОВИЯ»

Александр Александрович Петров-Агатов (р. в 1921) — был долголетним членом Союза писателей. Он — автор известной в военные годы песни «Темная ночь». Впервые был арестован в 1947 г. и пробыл в тюрьмах и лагерях 20 лет. После упорных хлопот отдельных писателей был освобожден в апреле 1967 г. Но на свободе оставался лишь год.

В течение этого года успел опубликовать две подборки стихов в журналах «Простор» (№ 10, 1967) и «Нева» (№ 3, 1968), написал одну передачу для телевидения «Если ты человек» и подписал договор с ленинградским издательством «Советский писатель» на книгу стихов. Но книга так и не успела выйти из-за вторичного ареста, а очерк «Тайна старого костела» появился в «Неве» (№ 8, 1968) уже тогда, когда А. Петров-Агатов «мерил шагами казематы Лефортова» (см. «Посев» 6/70, стр. 10-11).

Суд был закрытым и происходил 7-8. 1. 1969 г. Писатель получил «7 лет лагерей за стихи о произволе времен Берия, написанные в те годы» (см. там же). Из тюрьмы Петров-Агатов был направлен в Мордовские лагеря, где на лагпункте № 11 познакомился с писателем А. Д. Синявским. Затем был переведен на 17 лагпункт, откуда отправил в конце 1969 г. «Открытое письмо Борису Полевому, главному редактору журнала «Юность» (см. там же, под заголовком «Кто же сумасшедшие?»).

Позже, лежа в лагерной больнице, Петров-Агатов написал два очерка о деятелях Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа — о М. Ю. Садо и Л. И. Бородине (см. их биографии в этом же № «Граней», стр. 144 и 142), опубликованных под названием «Россия, которой не знают» в «Посеве» 3/71, стр. 20. Его стихи под тем же названием см. в «Посеве» 5/71, стр. 54.

28. 10. 1970 г. А. Петров-Агатов, вместе с Л. Бородиным, был (по-видимому, «в наказание» за появление его очерков «Россия, которой не знают» в Самиздате) переведен до конца срока (1975 г.) во Владимирскую тюрьму — эту «могилу для живых».

— Р е д.

**
*

Тюрьма, как сито: дрянь не проскользнет.
Всё на виду. Всё в самом первороде.
Здесь иль паденье полное, иль взлёт.
Средины нет. Средина — на свободе.

**
*

Всё будет так, как говорил Господь.
Всё будет так, как мы хотели сами.
Стальные птицы выжгут нашу плоть.
И города провалятся под нами.

Всё будет так. И весь твой разговор —
Истошный вопль о мире — перед боем, —
Лишь только умножает твой позор.
Да, ты погибнешь так же, как и Троя.

Напрасно ты взираешь на богов.
И Никсон и Косыгин — только люди
В громадном мире штормов и ветров.
Простые люди. И к тому же — в блюде.

Им не вершить. И «быть или не быть» —
Решают не премьеры за столами.
Есть Божий суд. Его не отдалить
И не приблизить громкими речами.

Он — этот Суд — придет к нам на порог,
Когда его никто не ожидает.
Придет, как всё приходит, — в точный срок.
И каждого по праву покарат.

Напрасно побежите вы к горам,
Напрасно вы укроетесь в ущелья...
Великий гул пройдет по небесам.
Великий стон охватит подземелья.

Взгляни на мир: несметные полки
Сливаются с армадами чудовищ.
Дымятся аравийские пески.
Кипят в раздорах хижины становищ.

Кто этот спор сумеет прекратить?
Какой совет? Какие ассамблеи?
Земля горит. И «быть или не быть»
Решают не земные корифеи.

Их трупы, как и трупы их рабов,
Изложет червь, чинов не почитая...
Всё будет так. Средь зарева костров
Пройдет Господь от края и до края.

Пред Ним отступят ложь и мрак.
Пред Ним одним падут все на колени.
Всё будет так.
Всё будет только так!
И в этом — сумма всех людских свершений.

МОРДОВСКИЙ НАБАТ

По ночам, в клокочущем безмолвии,
Лагеря плывут, как корабли.
В путь уходят узники Мордовии —
Мученики плачущей земли.

Кто в Одессу, кто в Москву, кто в Киев...
Сколько глаз здесь — столько и дорог.
Паруса надежд своих поднимем,
Мчимся к дому, на родной порог .

Четверть века, а порой и доле,
Ни детей не видим мы, ни жен...
Лишь во сне бываем мы на воле,
Лишь во сне церковный слышим звон...

Наяву — лишь кандалы да цепи,
Да погибших стон из-под земли.
Через горы, через лес и степи
Лагеря плывут, как корабли.

И, рождая в сердце отголоски,
За фрегатом движется фрегат.
И не бухенвальдский, а мордовский
По стране разносится набат.

В мирном сне и в грохоте орудий,
В городе, в ауле и в селе
Помните, запомните, о люди,
Про Мордовский лагерь на земле!

1969-70 годы.

Мордовия,

Политический лагерь.

Площадь Маяковского, статья 70-ая

Владимир Николаевич Осипов родился в 1939 году, москвич, поэт. Был членом ВЛКСМ и студентом исторического факультета МГУ, но 9. 2. 1959 г. за публичный протест против ареста своего однокурсника был исключен из комсомола и университета. В ноябре 1960 г. выпустил первый номер машинописного журнала молодежи «Бумеранг». Осипов — один из организаторов и участников демонстрации 14 апреля 1961 г. на площади Маяковского, за что и был в тот же день впервые арестован и приговорен к 10 суткам лишения свободы. Вторично его арестовывают 6. 10. 1961 г. по делу журнала «Феникс-66». Московский горсуд присуждает его 9. 2. 1962 г. к 7 годам лагерей усиленного режима (см. «Письмо Юрия Галанскова в Комитет Государственной Безопасности» и Э. А. «Письмо в ЦК КПСС по поводу публичного чтения и дискуссий на площади Маяковского», «Русская мысль» от 20. 4. 68). Срок Осипов отбывал в Мордовских лагерях. Освобожден в октябре 1968 г. (см. «Посев. Спец. выпуск» 1/69).

Лишенный права после отбытия срока жить в Москве, где находятся его родные, он с невероятным трудом нашел комнату в г. Александрове Владимирской области. Самиздатом распространяется его очерк «В поисках крыши», датированный июлем 1970 г., в котором Осипов описывает свои мытарства бывшего политзаключенного при нахождении квартиры и получении прописки (очерк целиком опубликован в «Посеве» 1/71).

Второй очерк В. Осипова «Площадь Маяковского, статья 70-ая», также распространяемый Самиздатом и публикуемый ниже, посвящен истории возникновения молодежной оппозиции в Москве и подпольных журналов.

В январе 1971 г. вышел под редакцией В. Осипова первый номер нового журнала — «Вече». Редакция так определяет его направление и задачи: «...повернуться лицом к Родине... возродить и сберечь национальную культуру, моральный и умственный капитал предков... продолжить путеводную линию славянофилов и Достоевского». «Вече» определяется редакцией как «русский патриотический журнал». 1. 3. 1971 г. от имени редакции В. Осипов сделал заявление, в котором подчеркнул, что «Вече» является легальным журналом, что политические проблемы не входят в его тематику и что журнал не ставит себе целью умаление достоинства других наций. А 19. 5. 71 г. вышел второй номер «Вече», в котором, между другими материалами, есть сообщение о романе В. Максимова «Семь дней творения» (см. в этом же номере «Г р а н и» повесть «Четверг. Поздний свет» — одну из частей этого романа). Подробное содержание «Вече» № 2 изложено в «Хронике» № 20 (см. «Посев. Спец. выпуск» 8/71, стр. 55 и 9/71).

Редакция

Двадцать девятого июля 1958 г. в Москве был открыт памятник известному политическому поэту Маяковскому. На площади его имени собрались, как писали газеты, «тысячи москвичей». Романтик Тихонов перерезал ленту, а министр культуры Михайлов произнес речь. В заключение митинга нескольких признанных поэтов читали свои стихи, а по окончании официальной части стали читать стихи сами собравшиеся. Это неожиданно возникшее и никем не запланированное «мероприятие» понравилось всем. Желавших декламировать было много, надвигались сумерки, и тогда решили собираться у памятника и впредь.

Тринадцатого августа в газете «Московский комсомолец» появилась заметка «В гости к Маяковскому», где упоминались самочинные выступления поэтов и давалось объявление:

«Собравшиеся решили обратиться через газету ко всем молодым москвичам — любителям творчества поэта — с предло-

ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО

жением: встречаться у памятника 19 числа каждого месяца в 10 часов».

Молодежь, обрадованная такой возможностью, приходила гораздо чаще, чем раз в месяц. Читали Маяковского, Симонова, Есенина, Евтушенко, забытого Гумилева, Ахматову, тогда еще не преданного анафеме Пастернака и многих других. Читали и свои собственные стихи. Среди множества выступавших были, конечно, и графоманы и посредственности. Был рабочий поэт — коммунар Федянов. Забегая вперед, отмечу, что из того же множества с годами выделилась группа действительно талантливых молодых поэтов: Галансков¹, Ковшин (Вишняков), Шукин, Шухт, Морозов², Михаил Каплан*. Площадь Маяковского стала первой аудиторией и для будущих комсомольских поэтов (Волгин).

Вечера не ограничивались одними стихами. За поэзией возникали идеи. Никакое бюро заранее не намечало оппонентов, никто не «направлял» выступления, каждый говорил, что хотел.

Дискуссии в центре Москвы! Долгие десятилетия ничего подобного не было, и вот негаданным ветром занесло озон. Спорили об искренности в литературе, о тогдашних «ревизионистах» Дудинцеве, Яшине, Тендрякове («Ухабы»), о Кочетове с его враждой к интеллигенции, о разных направлениях в живописи, даже о генетике и теории относительности. А иногда смельчаки касались запретной темы — политики. Крамолы особой не было: хвалили Гомулку за либерализм, порицали антипартийную группу Молотова, Кагановича, Ворошилова, одобрительно отзывались о рабочих советах в Югославии. В спорах мелькали имена Плеханова, Имре Надя, Г. К. Жукова, Мао Дзэ-дуна, Ганди, возникали схватки по философии: Гегель, Шопенгауэр, Рассел, экзистенциалисты. Но я совершенно не помню, что бы кто-либо высказывался с контрреволюционных

* Примечания см. в конце очерка. — Ред.

или консервативных позиций, не помню даже, чтобы кто-либо ставил под сомнение «Октябрь» и необходимость коммунизма в России. Встречались лишь ново-явленные сен-симоны, сватавшие социализм за свободу.

На глазах этой молодежи (образца 1958-61 гг.) произошло крупнейшее событие — был низвергнут человек, настолько олицетворявший существующую систему и идеологию, что сами слова «советская власть» и «Сталин» казались синонимами. Все мы, будущие крамольники, на заре юности были фанатичными сталинцами. По зову этого человека, казавшегося нам вершиной человеческого ума, воли и совести, мы готовы были сделать всё. Мы не глядели в жизнь, не замечали нищету деревень и самодурство чиновников, мы верили с истинно религиозным рвением. Культ личности явился сверхизвращением традиционного почитания вождя.

Доклад Хрущева и XX съезд уничтожили нашу веру, вырвав сердцевину мировоззрения, а сердцевиной был Сталин, ибо таковой была пропаганда марксизма за предыдущую четверть века. Старым коммунистам было легче: для них Сталин не был гвоздем, на котором держался социализм. С ненавистью обманутых фанатиков мы набросились на нашего «оборотня». Чиновники, для которых политический строй никогда не был предметом поклонения, немедленно записали нас в разряд врагов. Позднее чекист Поляков удивлялся:

«Когда мы следили за вами, мы поражались, сколько деловых встреч совершилось за день, как вы успевали пересекать город из конца в конец. Вот нашим бы комсомольцам вашу энергию».

Увы, в самом начале вы отшвырнули нас, единственных, кто беззаветно защищал бы систему, ту часть поколения, которая всегда двигала историю, могла бы укрепить и усилить государство. Функционеры этого не пожелали и отбросили всех идейных...

ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО

1956 год явился весной надежд. Но весна повернула вспять, и в 1958 году мы оказались в тупике. И вот сумятицу сомнений и поисков мы вынесли в стихийно возникший клуб под небом. Писатель К. Лапин в статье «О 'клубе' на площади и клубах, которых нет» («Московский комсомолец» от 21 сентября 1958 г.) вполне одобрительно отзывался о «площади Маяковского».

Лично я в то лето убирал хлеб на целине по комсомольской путевке. Вернулся в начале октября. Мои друзья познакомили меня с завсегдатаями площади Маяковского и, прежде всего, с Анатолием Ивановым (Рахметовым). На протяжении 1958-1960 гг. Иванов (Рахметов) много сделал для сближения творческой молодежи. Его роль на первом этапе площади Маяковского значительна. Он сознательно отграничивался от политики и всю энергию посвящал исключительно пропаганде искусства. Лучшие образцы русской дореволюционной поэзии, творчество поэтов, гонимых в период культа личности, стихи современников, особенно не печатающихся, — всё это было в центре забот Анатолия Иванова.

Каждую субботу и воскресенье, около восьми часов вечера, у памятника Маяковскому собирался народ. Все постоянные посетители перезнакомились между собой. Мы чувствовали себя среди своих. Скука, о которой часто пишут в комсомольской печати, сюда не заглядывала. С этих собраний уходили нехотя, к часу ночи.

Девятого февраля 1959 года я публично протестовал в зале истфака МГУ против ареста органами госбезопасности нашего однокурсника, за что был тут же исключен из комсомола и одновременно из университета. В моей жизни наступила полоса неурядиц, и поэтому около года я физически не мог посещать площадь Маяковского. Ее историю за этот период другие смогут изложить лучше меня.

Зима и весна 1960 года ознаменовались важным событием — начал издаваться машинописный журнал «Синтаксис»³. Издатель его — Александр Гинзбург⁴ — решил опубликовать в своем журнале поэтов любых направлений. Там были формалистические, религиозные, откровенно советские, «декадентские», антисталинские и другие стихи. До своего ареста (в июле 1960 года) А. Гинзбург успел издать три выпуска. В этом журнале не было критических статей, мало прозы, — почти только стихи. Вместе с тем в первой половине 1960 г. заметно усилился интерес к «подпольной» живописи. Я имею в виду импрессионистов, экспрессионистов, формалистов, абстракционистов. Впрочем, под абстракционизмом мы понимали лишь беспредметную живопись, как, например, живопись Крапивницкого. Живопись Оскара Рабина, В. Я. Ситникова, Вейсберга, конечно, не укладывалась в рамки представлений администраторов, но абстракционистской мы ее назвать не могли. В пропаганде этих художников среди московской публики мы часто ссылались на польских художников и в особенности на творчество известного коммуниста Пикассо.

Вместе с Анатолием Ивановым и кругом наших однодумцев я организовывал выставки этих художников на частных квартирах. Спустя много лет я внутренне отрешился от всякой живописи, которая покидает природу и человеческую душу; мне стал неприятен своим аморализмом абстракционизм и смежные с ним направления, я понял, что полотна Пикассо вопят об относительности всего святого. Но я не хочу зачеркивать свою молодость и свои усилия, отданные в 1960–1961 гг. пропаганде левой живописи. Я ни в чем не раскаиваюсь. Пропаганда формалистических направлений сделала свое доброе дело — пробила брешь в стене конформизма.

С середины 1960 г. наступает второй и послед-

ний период площади Маяковского — «маяка». Наша компания обростала новыми людьми. Среди нас появился «начинающий писатель» Яценко. Однажды после знакомства на выставке английской живописи мы договорились о встрече с другой компанией. Встретились у памятника Горькому. Тут оказался и Яценко. Мы думали, что он из их круга, а наши знакомые сочли его «нашим». Яценко оказался осведомителем. Был ли он «общественник» или получал зарплату, — я не знаю. Самое смешное, что ему нечего было показывать, кроме как о наших взглядах на живопись и литературу. Мы как раз собрались по примеру Гинзбурга издавать машинописный журнал. Только не с одними стихами, а «по-настоящему»: критику, прозу, поэзию, хронику и т. д. Но вскоре по доносу Яценко нас, одного за другим, стали вызывать на допросы. Поскольку у нас никакой политикой не пахло, дело ограничилось погромной статьей в газете «Московский комсомолец» от 29 сентября 1960 г. — «'Жрецы' помойки № 8» Р. Карпеля. Статью предваряло «письмо в редакцию» В. Яценко. Назвав Анатолия Иванова, Игоря Шипачева и Оскара Рабина отщепенцами только за то, что им нравится формализм, «негодующий» Яценко заявил:

«Они топчут всё светлое, человеческое», учат других «вести такой же паразитический образ жизни», вдалбливают новичкам «свои бредовые идеи».

В том же тоне была выдержана и сама статья. Оклеветав Иванова, что тот якобы слонялся «в поисках места потеплей и поуютней» (хотя Иванов много лет питался лишь килькой и растительным маслом, целиком отдаваясь пропаганде искусства), Карпель осмелел Виктора Калугина⁵, Шипачева, бросил комом грязи и в меня. Позднее, касаясь выходки Карпеля, я заметил своему следователю, что если бы действительно к работе мои руки не протянулись, я бы протянул ноги. Чекист усмехнулся: «Журналисты любят гиперболу». Кстати,

Яценко именовал меня Виктором, и под этим именем я оказался у Карпеля!

Нет, не «комариный писк хилой кучки бездельников» тревожил Карпеля, а наша судьба. Ведь, по его мнению, наша «общая характеристика — это руки, не привыкшие трудиться. ...А нужно все-таки заставить их добывать хлеб в поту, научить их думать. Тогда они поймут простое и ясное: тот, кто не с нами, тот против нас».

Позднее, в концлагере, я рубил рельсы, грузил углем вагонетки, разгружал бревна, мешал бетон, словом, добывал «хлеб в поту», как того требовал Карпель. Но думать по Карпелю я так и не научился.

Арест Гинзбурга взволновал и подстегнул нас. Другим важным толчком к усилению нашей деятельности явились допросы в КГБ и последовавший затем пасквиль Карпеля. Мы жили идеями, а не черной икрой, чего не могли понять сыщики. А на идейного человека, как известно, репрессии действуют обратно тому, как они влияют на человека материи. Естественно, что любой новый акт гонения только взвинчивал нашу энергию. Мы «опасались» одного: что ничего не успеем до решётки...

Собственно говоря, всё, что мы делали, не только соответствовало статье 125 Конституции СССР, но даже не нарушало статью 70 Уголовного Кодекса РСФСР. Мой «поделец»* Илья Бокштейн не раз доказывал кагебистам антиконституционность 70-ой статьи. Исторически под свободой слова всегда понималось право на критику. Свободу восхвалению предоставлял любой деспот. Состав преступления по 70-ой статье заключается в «распространении клеветнических измышлений, порочащих» строй. Где-то в научном комментарии к Уголовному Кодексу проводится зыбкая грань между «клеветой» и «критикой отдельных недостатков». Это —

* Обвиненный по тому же делу. — Ред.

в научном комментарии, а на деле красноярский речник Георгий Большаков был репрессирован по статье 70 за то, что на стене дома он написал лозунг: «Коммунизм — без Хрущева!» Надпись была расценена как антисоветская, и Большакова за «антисоветскую агитацию и пропаганду» бросили в тюрьму. После событий четырнадцатого октября 1964 года Большаков был реабилитирован и досрочно освобожден. Такова юридическая порочность 70-й статьи, криминал которой определяет на свой вкус следователь КГБ. Всё, что противоречит передовицам «Правды», признается крамолой.

С октября 1960 года начинается полоса самой оживленной деятельности. Сокрушить конформизм, единообразие, лишенное творческого начала, — было нашей целью. С этой целью я выпустил в ноябре месяце первый номер журнала «Бумеранг». Размышления художника Ситникова, критические статьи, стихи Щукина, Шухта, Ковшина, проза Виктора Калугина — такова была вторая (после «Синтаксиса») попытка издания машинописного сборника. Я подготовил материалы и для следующего сборника. В это время произошло мое знакомство с поэтом Юрием Галансковым, и я отдал ему свои материалы. Позднее он частично использовал их в выпуске сборника «Феникс»⁶.

Мой друг Анатолий Иванов (Новогодний)⁷, репрессированный в свое время по делу Игоря Авдеева (приговор Мосгорсуда от пятого мая 1959 года), теперь освобожден и принял деятельное участие в работе нашего «клуба». Большую роль на этом, втором этапе площади Маяковского сыграли Юрий Галансков, Владимир Буковский⁸, Виктор Хаустов⁹. С Ивановым (Рахметовым) начались разногласия. Мы предлагали широкое наступление против конформизма и последствий культа личности. Иванов (Рахметов) продолжал цепляться за «чистое искусство», которое якобы помутнеет от соприкосновения с политикой.

На протяжении зимы-весны 1961 года «наши люди» не пропустили на площади ни одной встречи. С группой поэтов и любителей поэзии мы наметили на четырнадцатое апреля 1961 года митинг по случаю гибели Маяковского. Оповестили максимальное число знакомых. Однако двенадцатого произошел полет Гагарина, сопровождавшийся подъемом социал-патриотических настроений. Мы посоветовались вечером тринадцатого апреля и, решив, что годовщина самоубийства Маяковского не прозвучит в унисон с полетом в околоземное пространство, отменили митинг. Но было уже поздно. Большинство знакомых предупредить уже было невозможно.

Вечером четырнадцатого апреля мы как «частные лица» пришли на площадь. Увы, толпа собралась большая. Поэты рвались выступать, публика ждала стихов. Нам пришлось возглавить «отмененный» митинг, чтобы удержать его в рамках лояльности. Вначале была речь, в которой перечислялись жертвы репрессий Сталина. Потом стали выступать поэт за поэтом. Когда дошла очередь до Анатолия Щукина и тот начал читать, толпа подоспевших дружинников взревела: «Бей его!» Мы сцепились локтями вокруг Щукина и своими спинами отбивали ярость подвыпивших «патриотов». Им удалось прорвать кольцо, и несколько хищных рук протянулось к Щукину. Мы защищали его как могли. Людской ком докатился до витрины кинотеатра «Москва», и здесь Щукин был сдан милиционеру. Одновременно был схвачен и я. Нас «закинули» в легковую милицейскую машину. На следующий день судья приговорил Щукина «за чтение антисоветских стихов» к пятнадцати суткам лишения свободы, а меня — за «нарушение общественного порядка» и «нецензурную брань» — к десяти суткам. Всю жизнь я — убежденный враг хамья, всю жизнь не устаю повторять, что

мат — это пароль плееев; поэтому меня особенно возмутило клеветническое обвинение.

Мы отсидели в КПЗ*, в районе улицы Горького. Следует добавить, что для борьбы с «левыми» посетителями площади Маяковского была создана специальная команда дружинников, которая действовала «по-хозяйски». Позднее «Комсомольская правда» от 14 января 1962 г. утверждала, что «маяковцев» освистывали рабочие. Я такого случая не помню. Среди нас были рабочие, хотя бы тот же Хаустов. Хватали же нас и волокли в милицию не рабочие, а специально подобранные дружинники из студентов. Впоследствии в зале Мосгорсуда, когда очередной свидетель, дав показания, садился в первый ряд (до окончания данного заседания), легко было отличить «наших» в скромной поношенной одежде от «стиляг»-дружинников.

Говорят, что после того, как демонстрация четырнадцатого апреля стала известна через западную прессу, действия дружинников, разгонявших собрание, были расценены в верхних инстанциях как «левый загиб». Похищенные у меня конспекты по философии Спинозы были возвращены через приемную ЦК ВЛКСМ без всяких нотаций.

Встречи на площади Маяковского продолжались. Я предложил своим друзьям выпустить и разбросать на площади листовку. В соответствии с нашими установками я хотел призвать собравшихся теснее сплотиться вокруг здоровых сил партии в целях полного искоренения последствий культа и помочь КПСС довести до конца программу XX съезда. Нам казалось, что усилиям партии в борьбе с культом препятствует значительный слой кадров, назначенных Сталиным. Мы считали, что борьба со сталинизмом должна охватить не только область персональных перемещений, но

* КПЗ — камера предварительного заключения. — Ред.

также сферу экономики и культуры. Большинство отвергло мой вариант листовки, а впоследствии и самый метод подобного распространения взглядов. После этого «умеренные» «маяковцы» стали считать меня «экстремистом».

Двадцать восьмого июня 1961 г. в Измайловском парке собрались пять активистов «клуба»: Эдуард Кузнецов¹⁰, Штернфельд, Анатолий Иванов (Новогодний), я и будущий предатель Вячеслав Сенчагов. Я прочел свои соображения по административно-хозяйственной структуре, созданной Сталиным, и предложил улучшить её, слегка изменив эту структуру заимствованиями из практики социалистического строительства в Югославии. В то время моделью социализма для нас была Югославия, а авторитетами — Ленин, Тито, Пальмиро Тольятти, а также лидеры «рабочей оппозиции» Шляпников и Коллонтай. Все единодушно согласились с моими соображениями и спорили лишь о частностях. Излишне напоминать, что ничего антисоветского в нашем собрании не было. Однако органам КГБ не понравился самый факт нашей самочинной встречи. В их изображении она выглядела так:

«В конце июня 1961 г. в лесном массиве Измайловского парка в Москве Осипов, Иванов, Кузнецов в присутствии своих знакомых Сенчагова и Штернфельда обсуждали проект программы антисоветской организации, разработанный Осиповым и содержащий ряд враждебных положений, заимствованных из антиленинских, ревизионистских учений и порочащих политическую линию Коммунистической партии Советского Союза».

Итак, Осипов, Иванов и Кузнецов о б с у ж д а л и, а симпатяга Сенчагов только п р и с у т с т в о в а л.

Уверяю вас, покойный гр-н Поляков, ваш Сенчагов т о ж е о б с у ж д а л, и столь же активно, как остальные. Так что «вина», скажем, Сенчагова и Кузнецова — одинакова. Впрочем, в данном случае Сенчагов на

суде сказал правду, а именно: он показал, что я зачитал тезисы не антисоветского, а антипартийного характера, а за «антипартийность», как известно, даже таких крупные деятелей, как Ворошилов и Молотов, никто не сажал. Отсутствие антисоветских высказываний в моем выступлении, равно как и в высказываниях собравшихся, подтвердил Штернфельд. Показания Иванова в деле отсутствовали.

«Ряд враждебных положений»? Оказывается:

«Материалами дела установлено, что антисоветские убеждения обвиняемых сложились под влиянием антимарксистских положений, выдвинутых в разное время фракционерами (т. е. членами коммунистической партии! — В. О.) и ревизионистами, в частности, членами антипартийной, так называемой рабочей оппозиции, югославскими (! — В. О.) и др. ревизионистами».

Так утверждается в обвинилровке, подписанной старшим следователем УКГБ гор. Москвы капитаном Львом Мальцевым.

То, что Кузнецов, я и некоторые другие «маяковцы» (в том числе Сенчагов) разделяли взгляды «рабочей оппозиции» и Союза Коммунистов Югославии, — это верно. Но ведь Шляпников и Коллонтай, подвергнутые критике на X съезде РКП(б), не только не были репрессированы за свои взгляды, но даже оставались в партийном руководстве и продолжали занимать крупные государственные посты. Если бы они знали, что в 1962 году Московский городской суд даст семь лет тюрьмы Осипову за два публичных выступления, проникнутых «синдикалистскими» настроениями Коллонтай! Если бы они знали, что тот же суд даст семь лет тюрьмы Кузнецову за одно лишь наличие «синдикалистского» настроения! Ведь ни один свидетель не показал о каком бы то ни было публичном выступлении Кузнецова. Эдуард Кузнецов нигде ни разу не выступил не только с антисоветским, но ни с каким другим вообще заявлением.

Странно получается, гражданин Коржиков. Вы судите Кузнецова за «антисоветскую агитацию и пропаганду», а этой агитации и пропаганды попросту нет! В отношении себя я признаю, что дважды публично хвалил югославский социализм и президента Тито. Больше того, я даже порицал в некоторых вопросах самого Хрущева. Для судьи Коржикова критика Хрущева была равнозначна критике советского строя. И поскольку никаких доказательств того, что я «порочил» сам строй, а б с о л ю т н о н е т, — меня судят (и при этом дают семь лет!) за критику главы правительства.

Московский городской суд репрессировал также А. М. Иванова (Новогоднего), ссылаясь на утверждение КГБ, что «наиболее активными участниками этой группы («антисоветски настроенных лиц» — В. О.) являлись Бокштейн И. В.¹¹, Осипов В. Н., Кузнецов Э. С. и Иванов А. М.». А между тем на самом деле не существует доказательств того, что Иванов А. М. где бы то ни было вел антисоветскую пропаганду. Положение Мосгорсуда было щекотливое: ему не хотелось оправдывать Иванова и одновременно нельзя было посадить его из-за полного отсутствия состава преступления. И суд нашел выход: он приговорил Иванова к принудительному лечению в спецбольнице. По меткой мысли великого русского писателя Солженицына, принудление нормального человека в больнице для идиотов есть «вариант газовой камеры». Иванов, виновный только в том, что он изложил следствию свои синдикалистские взгляды, два года провел в кошмарных условиях среди дегенератов!

Итак, группа! Бокштейн, Осипов, Кузнецов, Иванов. Группа из четырех лиц. С Бокштейном я встречался всего дважды в общей компании, с ним лично никогда не беседовал, о его мировоззрении узнал только в тюрьме. Кузнецов знал его еще меньше. Бокштейн и Иванов не знали друг друга вообще. Хороша группа,

где люди даже не перезнакомились, а ловкий следователь уже шьет сговор. Ведь нас судили не только по ст. 70, но и по статье 72, что означает участие в антисоветской организации.

Нет устава, программы, нет элементарного согласия людей, нет самой мысли об организации, но суд не обременяет себя доказательствами, он штампует эту организацию, и притом, конечно, «антисоветскую». Наличие 72-ой статьи, видно, необходимо было для успокоения совести: как же не дать семь лет, если у них даже — о р г а н и з а ц и я! Верховный суд РСФСР (при рассмотрении кассации) не решился утверждать столь очевидный абсурд и исключил 72-ую статью из приговора. Однако эта 72-ая статья, как репейник, сопровождала нас по всем этапам...

В чем же обвиняют нас?

«В июле-сентябре 1961 года Осипов, Кузнецов, Иванов с целью активизации антисоветской агитации предпринимали практические шаги для изготовления листовок враждебного содержания, предназначенных для распространения среди населения».

Мы «предпринимали практические шаги»! То есть листовок не изготавливали, а предпринимали шаги. Текст листовки в обвинительном заключении отсутствует, так как следователь Мальцев не догадался его придумать. Легко понять, что этого текста не было вообще. Не было листовок и даже предполагаемого текста листовки. Враждебное содержание чистого листа бумаги!

«Намереваясь в дальнейшем изготавливать листовки фотографическим способом или путем напечатания на пишущей машинке, Кузнецов принял участие в приобретении значительного количества фотобумаги, копировальной бумаги» (Обвинительное заключение).

«Принял участие»! То есть купил эту фотобумагу и хранил ее у себя другой человек, к ответственности

не привлекавшийся. Но ведь «шьют» срок Кузнецову. Вот и взваливают на Кузнецова чужую фотобумагу. Весы справедливости, однако, колеблются. Тогда следователи обвинили нас еще и в том, что:

«Предлагая осветить с антисоветских позиций хулиганские проявления, происшедшие в городах Муроме и Александрове, Кузнецов и Осипов выезжали туда в конце июля 1961 года для сбора материалов».

Съездить в Муром предложил Сенчагов. Он уговорил Кузнецова, и они съездили на место происшествия в конце июня 1961 года. В Муроме действительно произошли «революционные» или «хулиганские» волнения. Эпитет, как всегда, зависит от политической позиции наблюдателя. Погром помещичьих усадеб, убийство царских служащих, захват военного броненосца — в левой печати всё это хулиганством не называлось. Погром и поджог здания милиции в городе Муроме (а спустя месяц — и в Александрове) ни меня, ни Кузнецова в восторг не привели. Но в том, что многотысячная похоронная процессия, запрудившая весь Муром, состояла из одних хулиганов, — мы усомнились. Однако, как бы то ни было, никакой крамолы из событий в Муроме и Александрове мы не сотворили. Узнали, пришли в уныние от «неэстетичности» народных действий и сделали вывод, что самочинная народная революция была бы жутким кошмаром. Освещать и пропагандировать эту стихию никто из нас не собирался.

Больше того: никто из нас о так называемой революции вообще не мечтал. Мы считали существующий в СССР строй социально справедливым, мы даже признавали систему одной партии. Наши взгляды столь же мало отличались от взглядов советских руководителей, как, скажем, взгляды президента Тито. Советская конституция хороша, — необходимо только ее неукоснительно соблюдать. Позднее, в лагере, я встретил рабочего из Курска — Владислава Ильякова. Ему дали семь лет

за распространение листовок в защиту СКЮ. Настольной книгой Ильякова была работа Ленина «Государство и революция». Надо признать, что и среди «маяковцев» эта книга Ленина пользовалась успехом. Мы радовались, что она не попала в список запрещенной литературы. Знатоки цитировали работу Маркса «Секретная дипломатия XVIII века». Увы, эту работу мы достать не могли.

Таким образом, мы с Кузнецовым выступали с «антисоветскими» заявлениями (точнее — выступал я, а Кузнецов молчаливо-преступно соглашался), ездили в Муром (Сенчагов с Кузнецовым) и Александров (я с несколькими «маяковцами»), покупали фотобумагу якобы для «враждебных» листовок (точнее — покупал один из «маяковцев», а мы были с этим человеком знакомы) — вот наш состав преступления.

Т-с-с-с... Я слышу из могилы голос покойного Полякова: «Вы забыли самое главное». Нет, Сергей Михайлович, я не забыл: вы обвиняли меня и в том, что я

«...в августе-сентябре 1961 года, совместно со своими соучастниками, обсуждал возможность совершения террористического акта в отношении Главы Советского правительства».

Начну с того, что после газетной заметки в январе 1969 года немало людей «обсуждало возможность» терракта у Боровицких ворот Кремля. В принципе обсуждать возможно всё. Преступно совершать и готовиться к совершению политического убийства. Никто из нас не готовился к этому, и никто никогда не мыслил террористических действий вообще. В своем кругу мы резко критиковали Хрущева за его (на наш взгляд) авантюристическую линию в вопросе о Западном Берлине. Мы не считали нужным начинать мировую войну из-за того, что Западный Берлин не входит в ГДР. Однако у нас и мысли не было совершать терракт в отношении Хрущева. Мы надеялись, что в ЦК КПСС достаточно здравомыслящих людей, способных в критическую

минуту сместить Хрущева со всех постов и предотвратить мировую войну.

Мысль о теракте принадлежала душевнобольному Р., которого мы считали провокатором. Все разговоры вокруг этого имели единственной целью — «разоблачение» провокатора. Но разве могли следователи упустить столь желанную строчку! При такой строчке в приговоре никто и не заметит, что состава преступления у приговоренных нет, что даже по статье 70 судить не за что.

Итак, я и Кузнецов юридически невиновны. Однако я знаю, что дело не в этом. Не за «антисоветскую пропаганду» нас судили, а за инакомыслие, за независимость и свободу мнений. Нас судили за «площадь Маяковского». За митинг четырнадцатого апреля 1961 года. За встречи, дискуссии, за попытку обсуждать общественные вопросы.

Поэтому и были придуманы листовки враждебного содержания...

Антисоветская деятельность — блеф. А чем же мы занимались на самом деле? Весной 1961 года Галансков выпустил «Феникс». Едва я вышел из милицкого подвала в конце апреля, как мне показали аккуратно, со вкусом оформленный сборник. Неоднократно в течение мая-августа мы выезжали за город и там возле речки обсуждали планы издания стихов машинописью и вопрос о создании клуба. Кстати, знаменитая **ночь** (на девятое июля) на квартире Иры Мотобрицевой была посвящена не антисоветским выступлениям, а проблеме молодежного клуба. Следователи это знали, но «шить» нам срок за мечты о клубе не осмелились. Вот и стали наскребывать «антисоветские» словечки.

Помню вечер в Манеже, посвященный окончанию выставки самодеятельных художников. Унылые выступления ораторов наводили сон на публику. Художни-

ки, съехавшиеся со всего Союза, поглядывали на часы, скучали... Но в засаде стояли мы. Наша группа (человек восемь-десять) решила дать бой. Искусствовед, заранее подготовившийся, отделился от нас и попросил слова. Не ожидая подвоха, председатель разрешил. Наш оратор подверг разносу халтуру выставленных полотен, выделив лишь две картины, как раз те, которые предыдущие ораторы сочли долгом упрекнуть за нехорошую тенденцию, то есть за талантливость. Потом «наш» разошелся вовсю: он открыто начал хвалить абстракционизм и формализм. В зале поднялся шум: «Не давать слова! Долой!» Другие кричали: «Пусть говорит, пусть разоблачит себя!» Его едва не согнали с трибуны. Вскоре среди взбаламученной публики появился милиционер и по кивку председателя из президиума приказал всем покинуть помещение. Долго еще мы стояли на улице у здания Манежа. Нашу группу окружила толпа сочувствующих, мы спорили, улыбались и обменивались адресами. Группа, возникшая после этого вечера, стала затем постоянно собираться и обсуждать вопросы эстетики.

На вечере в Доме культуры ЗИЛ, где обсуждали журнал «Юность» (сентябрь 1961 г.), с подробным разбором поэзии этого журнала выступил я. В одном углу зала стояли «наши», в другом — у дверей — стояли, ловя каждое мое слово, сыщики. Теперь они не отставали от нас ни на шаг.

Разумеется, во всех наших публичных выступлениях на официальных собраниях не было ни грамма «криминала». Было б хоть на точечку, следователи наши этого не упустили б. Наши выступления не были антисоветскими, но они были неконформистскими, свободными и критическими. Мы развернули свою деятельность довольно широко: в 1961 году трудно назвать вообще какое-либо мероприятие в Москве, посвященное литературе и искусству, на котором бы мы не

присутствовали и на котором бы мы не выступали. Поэтому вполне понятна та настойчивость в поисках предлогов для ареста, которую проявили сотрудники госбезопасности.

Наконец предлог этот выпал сам. В КГБ явился с «повинной» студент Института народного хозяйства им. Плеханова Вячеслав Константинович Сенчагов. Его вдохновил на донос друг и наставник Майданик, историк, автор «либеральной» работы о революции тридцатых годов в Испании. Сенчагов дал свои показания пятого октября 1961 года, и в тот же день прокурор гор. Москвы подписал ордер на арест Осипова, Кузнецова, Иванова. Донос Сенчагова был клеветническим: он показал, что якобы Осипов, Иванов и другие готовят терр-акт. За полтора месяца до явки в КГБ Сенчагов заявил мне лично, что отходит от общественной деятельности вообще и посвящает себя исключительно науке. Но страх за свои «деяния» (впрочем, не антисоветские, как и у всех нас) не давал ему покоя, и он продолжал крутиться возле наших знакомых.

Однажды, гуляя с поэтом Щукиным по вечерней Москве, я сказал: «Вот жизнь. Вечер, покой, а завтра — очередная акция». Я имел в виду какое-нибудь очередное выступление в клубе или ДК. Но Щукину в словечке «акция» почудилось нечто жуткое. Он собрал группу «маяковцев», в которую пролез Сенчагов, и сказал: «Осипов что-то затевает». Сенчагов со своей стороны вынюхал, что кто-то из моих знакомых упоминал о каком-то терр-акте. Он стал убеждать собравшихся, что если Осипов сказал — «акция», это значит — терр-акт. Все «маяковцы» (в том числе и я) отвергали всякое неконституционное действие, тем более столь варварское дело, как террор. Однако они поверили Сенчагову и Щукину, что Осипов — «экстремист», и стали обсуждать возможность спасения России от «экстремизма» Осипова.

Сенчагов же решил просто донести. Он рассказал о террористических намерениях Осипова и Кузнецова и заявил сотрудникам КГБ, что среди «маяковцев» есть советские люди, слегка ошибающиеся, — это Иванов (Рахметов) с компанией, и экстремисты, мечтающие о насилии, — Осипов, Иванов (Новогодний). Таким разделением Сенчагов думал хотя бы частично успокоить совесть. Ведь выдал не всех, а только «экстремистов»... Причем не просто выдал, а оклеветал. А ведь он казался мне хорошим приятелем. Донос был «идейным»: эти «экстремисты» могут принести вред стране, а вот Сенчагов страну спасает. Знал бы этот подонок, в чем конкретно обвиняли нас?! Знал бы он, что «намотать» семь лет срока ему самому было бы столь же просто, как и нам! Я изворачивался, как мог, но всячески выгораживал Сенчагова (как и всех остальных) от обвинений. Только в конце следствия я узнал, что он — трус и предатель. Впрочем, это не изменило бы моих показаний. Я считаю неэтичным давать показания даже против стукача.

К вопросу о предателях. В Мордовских политлагерях было широко известно имя доносчика Гедония¹². Гедоний освободился и стал делать карьеру. Мы-то все его знали. А вот ребята из ленинградской «организации» ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов¹³) этого не знали. Судьба свела Гедония с ними, и разоблаченный в лагерях предатель сумел вновь продать людей. Помню, как сокрушенно качали головами Леонид Бородин¹⁴ и Владимир Ивойлов¹⁵.

Кстати, члены ВСХСОН листовок не распространяли, никакой агитации среди населения не вели, они всего лишь занимались самообразованием. Их подвела инерция исторических традиций: интеллигенты до мозга костей, люди слóва, они вздумали свой кружок по самообразованию оформить организационно. Появились

устав, программа, название... Поплатились они за эту бумажную «организацию» сурово: их вождь Игорь Огурцов¹⁶ получил пятнадцать лет лишения свободы (из них — семь лет тюремной камеры), Михаил Садо¹⁷ — тринадцать лет, литературовед Евгений Вагин¹⁸ и юрист Аверочкин¹⁹ — по восемь лет, специалист по Эфиопии Вячеслав Платонов²⁰ — семь лет, директор школы Бородин и экономист Ивойлов — по шести лет и так далее. Всего было осуждено около восемнадцати человек. За исключением двух-трех лиц, эти социал-христиане — люди редкой нравственной чистоты, беззаветной любви к Родине и той невыразимой «детскости», которая всегда была свойственна лучшим сынам России. Особенным авторитетом среди всех пользовался Игорь Огурцов — семитолог по образованию, переводчик по профессии, русский патриот по своей рыцарской душе.

Что касается Гедония, последний «смог», наконец, защитить кандидатскую диссертацию. Ныне он наставляет студентов Петрозаводского университета.

Шестого октября 1961 года в восемь часов утра в разных местах Москвы были арестованы В. Н. Осипов, Э. С. Кузнецов и А. М. Иванов. Одновременно были произведены обыски на квартирах Ю. Т. Галанскова, А. И. Иванова, В. К. Буковского, В. А. Хаустова. Двое последних, кроме того, на несколько часов были задержаны. Все трое были арестованы по делу Бокштейна. Таинственная нерусская фамилия создавала дополнительный антураж. Инкогнито в черных очках и с поднятым воротником? Увы, студент Библиотечного института Илья Вениаминович Бокштейн не был резидентом империалистических разведок. Этот низкорослый юноша многие годы детства и отрочества провел на больничной койке в парализованном состоянии (туберкулез позвоночника). Способный и эрудированный, Бокштейн тем не менее был абсолютно неприспособлен

к жизни, он не знал, что такое осторожность, и первому встречному выкладывал свои задушевные мысли. «Первых встречных» оказалось два десятка дружинников и несколько трусов из «наших». Они и постарались упечь Илью на пять лет в концлагерь. Илья отсидел свой срок достойно и мужественно. Бокштейн, завсегда на площади Маяковского, был арестован за два месяца до нашего ареста, в ночь с пятого на шестое августа после того, как был задержан на самой площади и доставлен в отделение милиции. С нами он никак не был связан, но поскольку не «антисоветская» деятельность Осипова и Кузнецова интересовала сыщиков, а «площадь Маяковского» как таковая, то и были объединены вместе все четверо. Не судить же «площадь» порознь.

Допрос в КГБ — это немалая проверка человека. Ее с честью выдержали Виктор Хаустов, Ира Мотобрицева и ряд других. Вместе с тем было больно узнавать о малодушном поведении некоторых.

Винцент Федоров! Неужто я и в самом деле называл «Октябрь» фашистским путчем?

Эрик Каплан! С тобой я разговаривал один раз в течение десяти минут, когда случайно встретил вас с Кузнецовым на улице Горького. И весь этот десятиминутный разговор ты подробно изложил следствию. Верно, что «рабочую оппозицию» я хвалил, но Троцкого я не терпел и тогда.

Владимир Жучков! С глазу на глаз мы говорили с тобой об исторических взглядах Гегеля. Разве я сравнивал китайскую деспотию с советским государством?

Постовалов! Когда-то мы с Галансковым и Ивановым (Рахметовым) уберегли тебя от ненависти соседей. Ты показал, что я критиковал партию. Критиковал не Хрущева, а КПСС вообще?

На первый взгляд кажется, что каждый из вас показал крупицу. Но собранные воедино эти крупинцы

дали «основание» судьям приговорить меня к семи годам лишения свободы.

Нас не пытали и даже не прибегали к угрозам. Следствие велось подчеркнуто корректно. Был взят метод мягкого обволакивания. Под напором других показаний тоже начинаешь показывать, правда, постоянно напоминая следователям: «О себе скажу всё, о других ни слова». Следователь записывает по-своему. В конце допроса перечитываешь протокол и удивляешься: вроде так и вроде не так. В разных местах следователь дает собственные формулировки, по-своему «дополняет», «уточняет», а кое-что опускает. Обхождение дипломатично-вежливое, и поэтому становится неловко спорить «из-за пустяков». В результате махнешь рукой и подписываешь эти «слегка» измененные показания. Век живи — век учись. Сейчас я не понимаю, зачем я вообще что-то подтверждал. Да пусть хоть двадцать человек показывают! Что это за культ множества? Смотришь потом: одного в «дурдом» отправили (то есть его показания недействительны), другой на суд не явился, третий отказался. И еще — эти «чистосердечные показания».

В начале любого следствия следователь предупреждает допрашиваемого о смягчении участи за чистосердечное признание. Действительно, такая статья в кодексе существует. Но применяется она лишь в тех случаях, когда подследственный покажет всё, что знает, всё, что хотят знать следователи, а это, как известно, сопряжено с нравственной гибелью. Их не перехитришь, они — профессионалы, их этому учили, и они достаточно разбираются, где человек говорит всё и где он юлит. Многие же, отнюдь не расставаясь с моральными принципами, пытаются всё же сделать вид, что дают «чистосердечные признания». В результате всё же показывают, становятся собственными палачами, сами себе «мотают» срок, а от их «чистосердечного призн-

нения» суду ни жарко ни холодно. В боксах Мосгорсуда все стены испещрены надписями: «Сознаться и умереть никогда не поздно», «Признался и получил 10 лет», «Чистосердечное признание — прямой путь в тюрьму».

Во время следствия я говорил Полякову:

— Вы же всегда клеймите социал-реформистов как прямых пособников буржуазии. Мы тоже социал-реформисты в том смысле, что хотим произвести небольшие частичные реформы в структуре советской системы. Так что мы — прямые пособники коммунистической партии. Почему же вы сажаете нас?

Когда я прибыл на семнадцатый лагпункт, я познакомился с одним из членов «Союза патриотов России» (Лев Краснопевцев²¹, Л. А. Рендель²², Н. Г. Обушенков, М. Чешков, М. Семиненко²³, Меньшиков и другие осуждены Мосгорсудом в феврале 1958 года). Глядя сквозь проволоку вдаль, тот замечтался: «В сущности, Володя, советская система — это наша система».

К этому добавлю, что больше половины из тех, кто прибывает в политлагерь, это — люди с типично советским мировоззрением. Правда, выходят из лагерей уже п е р е в о с п и т а в ш и е с я... Недаром концлагерь официально называется исправительно-трудовой колонией. Приходят атеистами, уходят — христианами. И с п р а в и л и с ь... Мне известен лишь один случай, когда после десяти лет заключения люди изменили свои взгляды в удобную для начальства сторону. Это — сам Л. Краснопевцев и его друг В. Меньшиков. В июне 1967 года (за два месяца до освобождения) в многотиражной газете для заключенных «За отличный труд» они опубликовали покаянные статьи.

Надо откровенно признать, что следователям удалось-таки убедить нас в том, что «объективно» мы наносим ущерб советскому государству. Сознать это было неприятно, и мы «помогали» следствию, вспоминая свои переживания. Слишком часто мы представля-

ем государственный аппарат в виде личности, всё понимающей и, в общем, доброй. А ведь аппарат — это множество людей на разных ступенях лестницы. Никто за всех не думает. Твоя душа никому не нужна. Одних интересует твой «криминал», других — твоё окружение, третьих — твоя изоляция.

Единственное в жизни, за что я краснею, единственное, чего я постоянно стыжусь — это того, что я признал себя виновным. Спустя четыре года я отправил заявление на имя председателя Верховного суда СССР Горкина о том, что отказываюсь от всех своих показаний и не считаю себя виновным. На следствии же и на суде я помог и Полякову, и Коржикову, и прокурору Молочкову, обвинив сам себя. Мне было двадцать три года, за два года до процесса я был членом ВЛКСМ (по убеждению) и тут легко попал под гипноз рыночной терминологии: «враг», «враждебный», «капитализм».

Наш — не наш! До каких пор мы будем сохранять враждебную ситуацию? Нобелевский лауреат Шолохов скорбел, что А. Д. Синявского²⁴ и Ю. Даниэля²⁵ не расстреляли, а всего лишь посадили за проволоку. А коммунистические партии Италии, Австрии, Великобритании ратуют за многопартийность при социализме и, естественно, за свободу всевозможным Синявским писать романы и повести о чем угодно. Почему же мы должны ощетиниваться из года в год, в то время как другие способны на терпимость и согласие?

Относительно КГБ. Мне бы не хотелось выглядеть необъективным. Хотя я посажен руками КГБ, но ни малейшей злобы к представителям этой организации я не питаю. В оправдание своих следователей напомним, что они, как и все советские граждане, продолжали находиться под психическим действием сталинского колдовства. Перелистайте подшивку «Правды» за 1937-1940 годы. Из номера в номер — сообщения о вредителях,

о проникновении их в парткомы, райкомы, обкомы. Например, на Харьковском тракторном заводе проходы между станками были слишком узкими; оказывается, это придумали враги народа с целью увеличения травм. И так во всем. Вредители, шпионы, враги... Немудрено после многих лет такой атмосферы видеть враждебный вымысел в любой инициативе, в любом самочинном действии. Миллионы людей в буквальном смысле этого слова были психически больны. Истерия охватила всех. И я охотно верю, что мой следователь Поляков, болевший со всеми вместе, совершенно искренне полагал, что Осипов, одобряя рабочие советы, наносит вред государству. Самое грустное, что и Осипов на минуту поддался последствиям эпидемии, признав себя виновным в том, чего не было.

Девятого февраля 1962 года Московский городской суд (судья Коржииков, прокурор Молочков, адвокат Ситников, вскоре скончавшийся) приговорили Осипова и Кузнецова к семи годам лишения свободы, Бокштейна — к пяти годам.

Мы были приговорены к усиленному режиму. В лагерь (ст. Потьма, п/о Явас, п/я Ж Х385/17) прибыли в апреле 1962 г. Через месяц, двадцать восьмого мая 1962 г. вышел секретный Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о двух видах режима для политзаключенных: строгом и особом. Общий режим и режим усиленный, таким образом, отменялись как слишком мягкие для злодеев. Год мы провели на строгом режиме. В июне 1963 года московский прокурор Алмазов потребовал Осипова, Кузнецова, Бокштейна перевести на самый суровый режим — особый (режим для рецидивистов), мотивируя это тем, что их деятельность имела слишком широкие масштабы. Двадцать пятого июня Мосгорсуд вынес нам дополнительный приговор — пребывание на особом режиме. Семь месяцев мы провели в спецлагере (десятом), возвращение из которого

в обычный концлагерь мне показалось возвращением на свободу. Наш адвокат кое-как добился перевода нас хотя бы на строгий режим. О режиме усиленном, который значился в приговоре от девятого февраля 1962 года, никто не вспоминал. О том, что в СССР закон обратной силы не имеет, ни один судья не вспомнил.

В числе «преступлений» Кузнецова, за которые он страдал семь лет, значится его присутствие во время обсуждения «тезисов о расколе комсомола» и молчаливое согласие с ними. Эти тезисы составил и предложил обсудить В. Буковский. Обсуждение состоялось на квартире Ю. Галанскова в сентябре 1961 года. Все присутствовавшие (человек пять-шесть) тезисы Буковского одобрили. Одобрил их и Э. С. Кузнецов. Но ни самому Буковскому, ни присутствовавшим эти никому, кроме присутствовавших, неизвестные тезисы в вину не вменялись. У Кузнецова же они составили в приговоре целый абзац (всего было пять абзацев).

Поэтому при такой законности вполне объяснимо тайное разбирательство дела. Нас судили тайно. Ни родственники, ни друзья, никто из публики допущен в зал заседания не был. Суд даже не потрудился объявить характер судопроизводства (гласный или негласный). На некоторых заседаниях свидетели, дав показания, могли не покидать зал, а оставаться до перерыва. Даже перед объявлением приговора наши родственники, друзья и знакомые пытались не пропустить в зал. Только настойчивость известного юриста-общественника А. С. Вольпина²⁶, державшего раскрытой статью УК, помогла преодолеть самоуправство вершителей.

Важнейший принцип советского законодательства — принцип гласности судопроизводства — был попран! И после этого нас, а не Молочковых и Коржиковых, упрекают в нарушении законности. В печати о нашем

суде не появилось ни строчки. Правда, за две недели до суда, четырнадцатого января 1962 года «Комсомольская правда» опубликовала фельетон А. Ёлкина «Кубарем с парнаса». В этом фельетоне среди десятка фамилий упоминается И. Бокштейн, но о том, что он арестован и находится на Лубянке, — ни слова.

Шильонский узник, воспетый Байроном, отсидел шесть лет. Мы с Кузнецовым — на год больше. Что такое исправительно-трудовая колония для политзаключенных, — достаточно ясно описал в своей книге Анатолий Марченко²⁷. Лично меня исправительная колония действительно исправила. В прошлом я был материалистом, социалистом и утопистом. Лагерь сделал меня человеком, верующим в Бога, в Россию, в наследство прадедов. Хотел этого судья Коржииков или не хотел, — я не знаю. В лагере пришлось по-новому взглянуть на роль Джугашвили. Он прекратил антипатриотический и антицерковный шабаш троцкистов, загасил русофобию Покровского, не жалевшего в своей ненависти ничего святого. Впрочем, весы, на которых взвешают дела Сталина, не колеблясь, встанут под острым углом. Ибо во всем прочем Сталин — двойник Троцкого.

К сожалению, не в одном Сталине и его приспешниках таится зло. Страшнее сталиных многоликий беспринципный обыватель. Тот, чья хата всегда с краю, но который, однако, рычит всегда по ветру. «Да будь моя воля, я бы всех вас перестрелял!» — с дикой и непонятной злобой говорит мне этот «простой мужичок»! Напоминаешь ему о мероприятиях Хрущева в отношении личного хозяйства, — тут он замолкает. «Но зато валютчиков надо перестрелять». Мне самому были противны валютчики, но закон должен быть важнее чьих бы то ни было эмоций. Меня этот мужичок готов расстрелять за то, что я — «против власти», а сам он то и дело ворует у государства. Найдется другой обыва-

тель, который скажет: — этих воров, что с завода тянут, всех бы перестрелять! Но осуждающий воров сам берет взятки. И некто третий захочет перестрелять взяточников, и так далее и так далее...

Лет десять-пятнадцать назад была шумная кампания против «стиляг». Этим словом называли всех тех, кто со вкусом одевался. Символом «стиляжничества» были узкие брюки. Ношение их порицалось. Как шумели против узкобрючников обыватели, сколько ярости было в их высоконравственном негодовании! И вот теперь девушки и женщины стали носить мини-юбки. Казалось бы, короткие юбки куда безнравственнее узких брюк. Но поскольку эти юбки официально санкционированы, обыватель молчит. Не брызжет пеной с трибун, не малюет наглядных стендов, не строчит в газеты.

Грош цена твоему «мнению», многоликая мразь! Впрочем, если есть надежда на цикличность в истории, будем надеяться на угасание ненависти. Скажем, лично я уже добился успеха — не питаю никакой злобы к своим мучителям. Осужден невинно, отстрадал (слово банальное и сентиментальное, но для концлагеря, увы, точное) ни за что семь лет и все же верю в перевоспитание меднолобых.

Что касается площади Маяковского как клуба под открытым небом, этот клуб был рассеян дружинниками через несколько недель после нашего ареста. К концу 1961 г. встречи у памятника Маяковскому прекратились. Спустя несколько лет эстафету «маяковцев» подхватили «конституционалисты», избравшие местом для своих встреч памятник Пушкину.

В завершение я выражаю надежду, что когда Игорь Огурцов, Юрий Галансков, Леонид Бородин, Валерий Ронкин²⁸, Вячеслав Платонов, Александр Гинзбург, Владимир Ивойлов, Сергей Хахаев²⁹, Андрей Синявский, Ростислав Сербенчук, Николай Драгош³⁰, Ва-

лерий Зайцев³¹, Михаил Садо, Евгений Вагин, Яков Берг³², Вячеслав Айдов³³, Борис Аверочкин, Юрий Мошков³⁴, Сергей Ханженков³⁵, Николай Тарнавский³⁶, Владимир Гацкевич, Зиновий Троицкий выйдут на свободу, они, подобно мне, расскажут, за что и как судили их.

Август 1970

ПРИЛОЖЕНИЕ: БИОГРАФИИ

¹ ГАЛАНСКОВ Юрий Тимофеевич родился 19. 6. 1939 г. в Москве в семье рабочего. Женат. Поэт и публицист. С ранней юности зарабатывал сам себе на жизнь. Работал электриком в театре и одновременно учился в школе. Затем — два года на историческом фак-тете в МГУ, откуда был исключен за «независимость мнений». Продолжал свое образование на вечернем отделении Историко-архивного ин-тута, днем работая в Государственном литературном музее рабочим. Галансков — один из активных участников собраний молодежи на площади Маяковского 60-61 гг. (см. его «Письмо в Комитет Государственной Безопасности» от 27. 10. 61 в «Русской мысли» от 20. 4. 1968 г.).

Совместно с другими выпустил в 61 г. машинописный сборник «Феникс» № 1 (см. «Г р а н и » 52/62), за что был заключен в психиатрическую больницу; ему посвящено стихотворение Н. Горбаневской «В сумасшедшем доме...» в «Г р а н я х » 67/68, стр. 40). В «Фениксе» № 1 (или «Феникс-61») помещены две поэмы Ю. Галанскова: «Человеческий манифест», который он читал на площади Маяковского (см. Э. А. «Письмо в ЦК КПСС», «Русская мысль» от 20. 4. 68), и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Галансков был близок также к движению молодых поэтов группы СМОГ.

10. 6. 65 г. он провел одиночную демонстрацию перед посольством США в Москве в знак протеста против политики Америки в Доминиканской республике. Тогда же он задумал издание пацифистского журнала (его демократические и пацифистские взгляды отражаются в той или иной мере почти во

всех его произведениях — поэтических и публицистических). Журнал должен был выйти под тем же названием — «Феникс». Галансков стал собирать для него материал (см. его: «К проекту программы Всемирного Союза сторонников всеобщего разоружения (ВССВР)» и «Устав ВССВР» в «Русской мысли» от 20. 4. 68; «Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире» в «Г р а н я х » 64/67, стр. 167).

Арест писателей А. Синявского и Ю. Даниэля (см. их биографии ниже) изменили его журнальные планы. Он стал выступать в защиту арестованных и с требованиями (в связи с этим) соблюдения Конституции и советских законов. Неправедливость и жестокость приговора, вынесенного Синявскому, заставила Галанскова включить в свой пацифистский сборник «криминальную статью» (выражение Галанскова) Синявского «Что такое социалистический реализм?» и другую, еще не публиковавшуюся, «В защиту пирамиды» (о творчестве Евг. Евтушенко) см. «Г р а н и » 63/67, стр. 114). С этим весь облик «Феникса» изменился: в него вошли проза, поэзия, публицистика, религиозные и политические материалы, отвергнутые официальной прессой или запрещенные цензурой.

Машинописный «Феникс» № 2 (или «Феникс-66») был закончен в декабре 66 г. и сразу стал распространяться. Под ним стояли фамилия и адрес главного редактора и издателя Ю. Галанскова. Передовая «Феникса», обращенная к власти, кончается словами: «Вы можете выиграть этот бой, но все равно вы проиграете эту войну. Войну за демократию и Россию» (там же, стр. 5.). В «Фениксе» были помещены поэма Галанскова «Справедливости окровавленные уста» («Г р а н и » 68/68, стр. 101), статья «Организационные проблемы...» (см. выше) и «Открытое письмо делегату XXIII съезда КПСС М. Шолохову» («Г р а н и » 67/68, стр. 115).

19. 1. 67 г. Галансков был арестован. Около года находился в предварительном заключении в Лефортовской тюрьме в Москве. Состоявшийся с 8. 1. по 12. 1. 68 г. суд над ним, А. Гинзбург, А. Добровольским и В. Лашковой, приговорил его к 7

годам лагерей строгого режима (см. «Процесс цепной реакции. Сборник документов по делу Ю. Т. Галанскова, А. И. Гинзбурга, А. А. Добровольского, В. И. Лашковой». Изд-во «Посев», 1971).

Срок Галансков отбывает в Мордовских лагерях, на 17 отделении Дубровлага. Несмотря на очень тяжелое состояние здоровья (язва двенадцатиперстной кишки), он в июне, ноябре и декабре 69 г. (находясь уже в больнице) принимает участие в голодовках протеста, выступает на защиту голодавшего его друга А. Гинзбурга (см. «История одной голодовки». Изд-во «Посев», 1971), пишет с друзьями обращения (см. «Обращение политкаторжан» к депутатам Верховного Совета с требованием пересмотра положения политкаторжан в связи с принятием новых «Основ ИТЗ» — «Посев» 7/69, стр. 6 и «Посев. Спец. выпуск» 2/69, стр. 39), протесты — «Позорная система лагерей» (письмо политзаключенных советским деятелям культуры, см. «Посев» 6/70, стр. 12), продолжает публицистическую деятельность, лежа в лагерной больнице: в феврале 70 г. Самиздат сообщил о новой статье Галанскова — «О пересмотре карательной политики». В ней Галансков рассказывает о судьбе Ю. Даниэля и В. Ронкина, переведенных во Владимирскую тюрьму (их биографии см. ниже) и ставит ряд важнейших проблем, связанных с положением сегодняшней России: процесс демократизации, диалог России с Западом, роль западной интеллигенции, гласность не только в России, но и во всем мире того, что делается в СССР, западные компартии и их отношение к политике КПСС и др. (см. «Посев» 7/70, стр. 28; там же портрет Галанскова в концлагере заключенного художника Ю. Иванова).

Несмотря на угрозу прободения кишечника и очень тяжелое общее состояние здоровья Галанскова, лагерная администрация возвращает его 16. 1. 70 из больницы на работу, но 6. 2. 70 его снова срочно увозят в госпиталь. Его мать и жена обращаются 13. 3. 70 в Управление медицинской службы МВД СССР с заявлением об угрожающем положении его здоровья и просят разрешить помочь больному лекарствами и диетной пищей (см. «Жизнь Ю. Галанскова в опасности» в «Посеве» 5/70, стр. 2).

Ответом на деятельность Галанскова за колючей проволокой политической каторги был суд 28. 10. 70 в Явасе над ним, Л. Бородиным (см. его биографию ниже) и Н. Ивановым. Галансков был приговорен к двум месяцам БУРа; но 4. 12. 70 администрация лагеря вынуждена была снова поместить его в больницу. Там он находится по 25. 12. 70, а затем его опять переводят в БУР — досиживать установленный лагерным судом срок — до 28. 12. 70.

По последним сведениям, Юрий Тимофеевич Галансков 21. 1. 1971 снова был доставлен в больницу (см. «Посев. Спец. выпуск» 8/71).

² Стихи В. КОВШИНА (Вишнякова) см. в «Фениксе-61» («Г р а н и» 52/62), в «Сфинксах» («Г р а н и» 59/65), в «Фениксе-66» («Г р а н и» 64/67); стихи А. ЩУКИНА см. в «Фениксе-61» («Г р а н и» 52/62); стихи А. ШУГА (ШУХТА?) — там же; стихи С. МОРОЗОВА см. в «Сфинксах» («Г р а н и» 59/65), в сборниках СМОГа («Г р а н и» 61/66), в «Фениксе-66» («Г р а н и» 70/69).

³ См. журнал «Синтаксис» 1, 2, 3 (полный текст) в «Г р а н я х» 58/65.

⁴ См. биографические данные А. ГИНЗБУРГА в «Г р а н я х» 79/71, стр. 99; в книге «История одной голодовки», изд-во «Посев» 1971. 18. 6. 71 А. Гинзбург этапирован из Владимирской тюрьмы в Лефортово, по-видимому, в связи с арестом В. К. Буковского (см. «Посев. Спец. выпуск» 9/71).

⁵ См. стихи В. КАЛУГИНА в «Фениксе-61» («Г р а н и» 52/62).

⁶ См. полный текст «Феникса № 1, Москва, 1961 г.» (он же — «Феникс-61») в «Г р а н я х» 52/62.

⁷ ИВАНОВ Анатолий М. (настоящая фамилия Новогодний) — москвич, поэт; арестован 6. 10. 61 по делу журнала «Феникс-61» одновременно с В. Осиповым и Э. Кузнецовым. Судим 9. 2. 62 и приговорен Московским горсудом к 7 годам лагерей усиленного режима. Отбывал срок в Мордовских лагерях; освобожден в октябре 68. По данным Осипова, часть срока провел в психобольнице.

⁸ БУКОВСКИЙ Владимир Константинович — биографические данные и рассказы см. в «Г р а н я х» 65/67 и 79/71, стр. 112. В последний раз В. Буковский арестован 29. 3. 71 за то, что 10. 3. 71 г. передал в Международный комитет по защите прав человека (в Париже) для опубликования в мировой прессе документы (около 200 стр.) о репрессиях инакомыслящих в СССР путем заключения их в спецпсихобольницы. Эти документы были также переданы видным западным психиатрам, чтобы они, по просьбе Буковского, поставили этот вопрос на Международном конгрессе психиатров (см. «Посев» 5/71, стр. 2).

⁹) ХАУСТОВ Виктор Александрович (р. 1938) — москвич, поэт, член СМОГа, по специальности — рабочий-обойщик. 22. 1. 67 участвовал на Пушкинской площади в демонстрации, организованной в защиту В. Лашковой, Ю. Галанскова и А. Добровольского, арестованных по делу журнала «Феникс-66». Был арестован после демонстрации в тот же день, судим 16. 2. 67 и приговорен Московским горсудом к 3 годам лагерей усиленного режима. Отбывал срок в лагерях Оренбургской области; освобожден в январе 1970.

¹⁰) КУЗНЕЦОВ Эдуард Самуилович (р. в 1941) — москвич, студент философского факультета МГУ. Был арестован по делу журнала «Феникс-61» 6. 10. 61 одновременно с В. Осиповым и А. Ивановым. Судим 9. 2. 62 Московским горсудом и приговорен к 7 годам лагерей усиленного режима. Отбывал срок в Мордовских лагерях, затем во Владимирской тюрьме; освобожден в октябре 68 (см. «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 40).

После выхода на свободу поселился в Риге, в 70 г. женился на С. Залмансон. 15. 6. 70 Э. Кузнецов вместе с женой и еще 9 друзьями попались в ловушку КГБ; были обвинены в попытке увести самолет из аэропорта «Смольное» в Ленинграде, арестованы и судимы. Э. Кузнецов и М. Дымшиц были приговорены к расстрелу, остальные получили от 15 до 4 лет концлагерей. Под давлением мировой общественности 31. 12. 70 Верховный суд РСФСР заменил расстрел Э. Кузнецову и М. Дымшицу 10 годами концлагерей. В начале июня 71 г. Э. Кузнецов был на 10 лагпункт (ст. Ударная Леплей) в лагерь особого режима, т. е. тюремного содержания с выводом на работу (см. «Посев» 1/71 и «Посев. Спец. выпуск» 7, 8 и 9/71).

¹¹ БОКШТЕЙН Илья Вениаминович — москвич, с детства провел многие годы на больничной койке — туберкулез позвоночника. Студент Библиотечного института, один из активных участников собраний на пл. Маяковского. Поэт. Арестован с 5 на 6. 8. 61 после того, как был задержан на пл. Маяковского и отправлен в отделение милиции. Был осужден по делу «Феникса-61» Московским горсудом на 5 лет концлагерей. По истечении срока вышел на свободу (см. П. Литвинов «Правосудие или расправа? Сборник документов». Стр. 76, Лондон. 1968; Э. А. «Письмо в ЦК КПСС. По поводу публичного чтения и дискуссий на площади Маяковского», «Русская мысль» от 20. 4. 1968. Париж).

¹² ГЕДОНИЙ — Александр Гидони, член Всероссийского социал-христианского союза освобождения народов, написавший донос в КГБ в 65 г. о деятельности его членов. Оставался по указанию КГБ в организации до начала арестов ее членов (февраль-март 67) и процесса (ноябрь 67-апрель 68), на котором выступал свидетелем обвинения (см. «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 12).

¹³ Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов (или «Русская партия») — «есть секретная надпартийная военно-политическая организация, основанная единомышленниками ради освобождения отечества от тиранического тоталитарного режима и установления социал-христианского строя» (Из «Устава ВСХСОН»).

Цель организации: 1) христианизация политики, 2) христианизация экономики, 3) христианизация культуры. Союз был основан в 64 г., разгромлен КГБ в 67-68 гг. (подробный материал о ВСХСОН см.: «Посев. Спец. выпуски» — 1/69, стр. 12; 5/70, стр. 25; «Посевы» — 6/70, стр. 5-9; 1/71, стр. 20).

¹⁴ БОРОДИН Леонид Иванович родился в Иркутске в семье потомственных учителей. Был студентом Иркутского уни-тета, состоял в ВЛКСМ. В 56 г. — первый арест за участие в нелегальном студенческом кружке «Свободное слово» и за слушание радиостанции «Байкал». Исключили из уни-тета и комсомола. Впоследствии окончил педагогический ин-тут. Историк по об-

разованию. Работал над диссертацией «Философские взгляды Бердяева». Последние годы был директором средней школы и преподавал в ней в Лужском р-не Ленинградской обл.

В 64 г. создал «Демократическую партию». В 65 г. стал членом ВСХСОН. Вторично арестован в феврале-марте 67. Осужден Ленинградским горсудом 14. 3-5. 4. 68 на 6 лет лагерей строгого режима. На суде — «не раскаялся». Срок отбывал в Мордовских лагерях. Принимал участие в мае-июне 69 в голодовке А. Гинзбурга (см. «Историю одной голодовки», изд-во «Посев», 1971), а также в голодовках протеста в ноябре-декабре 69 (будучи сам язвенником), пишет с друзьями «Обращение политкаторжан» к депутатам Верховного Совета и протесты — «Позорная система лагерей» (см. Галансков). В ответ на его деятельность лагерные власти отдали Бородина, вместе с Галансковым и Н. Ивановым, под суд, который состоялся в Явасе 28. 10. 70. По приговору суда Бородин был переведен до конца срока во Владимирскую тюрьму (описание ее нынешних условий для заключенных см. в кн. А. Марченко «Мои показания», гл. «Владимирка», изд-во «Посев», 1969). Там Бородин снова принимает участие, в числе других 27 заключенных, в голодовке протеста, приуроченной ко Дню Конституции и Дню Прав Человека и проводившейся с 5 по 10. 12. 70. Адрес Бородин: г. Владимир-областной, п/я ОД/1 - ст. 2. (См. о нем: «Посев. Спец. выпуск», 1/69, стр. 13; «Посевы»: 6/70, стр. 8, там же портрет Бородин в лагере заключенного художника Ю. Иванова; 3/71, стр. 24).

¹⁵ ИВОЙЛОВ Владимир (р. в 1937) окончил Ленинградский уни-тет, по образованию экономист. Работал в Томске. Член ВСХСОН. Арестован в Ленинграде в феврале-марте 67. Судим Ленинградским горсудом 14. 3 — 5. 4. 68. На суде — «не раскаялся». Присужден к 6 годам лагерей строгого режима. Отбывает срок в Мордовских лагерях. Его адрес: Мордовская АССР, ст. Потьма, п/о Явас, п/я ЖХ 385/11 (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 13 и 39; «Посев» 6/70, стр. 11).

¹⁶ ОГУРЦОВ Игорь Вячеславович (р. в 1938/9) — филолог, переводчик с японского языка. Главный руководитель ВСХСОН.

Арестован в Ленинграде в феврале-марте 67. В ноябре 67 судим Ленинградским горсудом. Приговорен к 15 годам лишения свободы: 5 лет тюремного заключения и 10 лет лагерей строгого режима. Место тюремного заключения — Владимирская тюрьма.

По последним сведениям, был одним из 27 участников голодовки протеста, проведенной во Владимирской тюрьме с 5 по 10 декабря и приуроченной ко Дню Конституции и Дню Прав Человека (см. о нем: «Посев. Спец. выпуски» 1/69, стр. 12 и 39; 5/70, стр. 25; «Посев» 6/70, стр. 11). Его адрес: г. Владимир-обл. п/я ОД/1-ст. 2.

¹⁷ САДО Михаил Юханович родился в 1934 г. в Ленинграде, в семье чистильщика сапог. Ассириец по происхождению. В «ежовщину» его дед, отец и два брата матери были репрессированы. Выжил только отец, отбывший 16 лет тюрем и лагерей. Остальные были реабилитированы посмертно. Из-за Ленинградской блокады Садо поздно пошел в школу. С 52 г. — член ВЛКСМ. В последних классах особый интерес проявляет к истории и литературе. В 54 г. призывается в армию в парашютно-десантные войска. После армии кончает Ленинградский университет. Востоковед по специальности. Женится.

Садо — один из основателей и четырех руководителей ВСХСОН. Арестован за свою политическую деятельность в Ленинграде в феврале 67, в ноябре того же года — осужден Ленинградским горсудом на 13 лет лишения свободы: 5 лет тюрьмы и 7 — лагерей строгого режима. В конце 69 г. Садо был переведен из Владимирской тюрьмы в Мордовские лагеря. Он — один из подписавших письмо политических заключенных советским деятелям культуры «Позорная система лагерей» (см. «Посев» 6/70, стр. 12). По последним сведениям, Садо отбывает срок на лагпункте 17-а. Его адрес: Мордовская АССР, п/о Озерный, п/я ЖХ 385/17-а (см. о нем: «Посев. Спец. выпуски» 1/69, стр. 12 и 39; 5/70, стр. 25; «Посевы»: 6/70, стр. 5, с его портретом в концлагере заключенного художника Ю. Иванова, и стр. 11; 3/71, стр. 20).

¹⁸ ВАГИН Евгений Александрович (р. в 1938/39) — литера-

БИОГРАФИИ

туровед из Пушкинского дома. Редактор запланированного издания сочинений Достоевского. Один из четырех руководителей ВСХСОН. Арестован в Ленинграде в феврале-марте 67. Приговорен Ленинградским горсудом в ноябре 67 к 10 годам лишения свободы: 2 года тюрьмы и 8 лет — лагерей строгого режима. Тюремный срок отбывал во Владимирской тюрьме, затем переведен в Мордовские лагеря. Его адрес: Мордовская АССР, ст. Потьма, п/о Явас, п/я ЖХ 385/11 (см. о нем: «Посев. Спец. выпуски» 1/69, стр. 12; 5/70, стр. 25; «Посев» 6/70, стр. 11).

¹⁹ АВЕРОЧКИН Борис (р. в 1940) — юрист. Один из четырех руководителей ВСХСОН. Арестован в феврале-марте 67 в Ленинграде. Приговорен Ленинградским горсудом в ноябре 67 к 8 годам лагерей строгого режима. Срок отбывает в Мордовских лагерях. Его адрес: Мордовская АССР, ст. Потьма, п/о Явас, п/я ЖХ 385/11 (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 12).

²⁰ ПЛАТОНОВ Вячеслав родился в 1941 г. в Ленинграде в семье рабочего. В 58 г. поступил в ЛГУ на восточный фак-тет. В 62 г. был послан в учебную командировку в Эфиопию. В 63 г., окончив уни-тет, поступает в аспирантуру и работает над диссертацией «Эфиопская историография. Хроники XIV-XV вв.». Ассистент при кафедре африканистики. Имеет печатные труды. Защита диссертации назначается на весну 67 г., но 17. 2. 67 Платонов, вернувшийся из научной командировки из Эфиопии в Ленинград, арестовывается КГБ как активный член ВСХСОН. Судим Ленинградским горсудом 14. 3-5. 4. 68 (на суде — «не раскаялся») и приговорен к 7 годам лагерей строгого режима. Срок отбывает в Мордовских лагерях. Писал ряд заявлений в защиту голодавшего А. Гинзбурга и участвовал в голодовке протеста А. Гинзбурга (май-июнь 69, см. «Историю одной голодовки», изд-во «Посев», 1971) и в голодовке протеста против перевода Ю. Даниэля и В. Ронкина во Владимирскую тюрьму (июль 69). Подписывает письмо политзаключенных советским деятелям культуры — «Позорная система лагерей» (см. «Посев» 6/70, стр. 12). По последним сведениям, Платонов находится на 17-а лагпункте. Его адрес: Мордовская АССР, п/о Озерный,

п/я ЖХ 385/17-а (см. о нем: «Посев. Спец. выпуски» 1/69, стр. 13; 2/69, стр. 59, 5/70, стр. 25; «Посев» 6/70, стр. 9, с его портретом в концлагере заключенного художника Ю. Иванова).

²¹ КРАСНОПЕВЦЕВ Лев — москвич, был аспирантом МГУ, член «Союза патриотов России» (нелегальный марксистский кружок). Арестован по делу группы Московского уни-тета 30. 8. 57. В феврале 58 осужден Московским горсудом на 10 лет лагерей строгого режима. Отбывал срок в Мордовских лагерях. Освобожден 30. 8. 67 (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 12).

²² РЕНДЕЛЬ Леонид А. — москвич, женат, по образованию историк, был аспирантом МГУ. Член «Союза патриотов России». Арестован по делу группы Московского уни-тета 30. 8. 57 года. В феврале 58 г. вместе с Краснопевцевым приговорен к 10 годам лагерей строгого режима. Отбывал срок в Мордовских лагерях. Освобожден 30. 8. 67, но до конца августа 68 был оставлен под административным надзором «за неоднократное нарушение лагерного режима и сохранение антисоветских убеждений» (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. стр. 12 и 40; «Посев» 6/68, стр. 6). В журнале «Вече» № 2 от 19. 5. 71, редактируемым В. Осиповым, содержится письмо Р. Ренделя (см. «Посев. Спец. выпуск» 9/71).

²³ ОБУШЕНКОВ Н. Г., ЧЕШКОВ М. и СЕМИНЕНКО М. — москвичи, были студентами МГУ и членами «Союза патриотов России». Арестованы в Москве 30. 8. 57, приговорены Московским горсудом в феврале 58 к 10 годам лагерей строгого режима. Отбывали срок в Мордовских лагерях вместе с Краснопевцевым и Ренделем. Освобождены 30. 8. 67.

²⁴ СИНЯВСКИЙ Андрей Донатович родился 8. 10. 1925 г. в Москве. Прозаик и литературный критик. Женат, сын 1964 г. рождения. Синявский в 49 г. окончил филологический фак-тет МГУ. В 51 г. был арестован его отец, и при обыске конфискованы дневники Синявского-сына. В 52 г. Синявский защищает кандидатскую диссертацию и с этого же года получает место старшего научного сотрудника в Институте мировой литературы АН СССР, в секторе советской литературы. Печатается как

литературный критик с 50 г. (в частности, в «Новом мире»). Он — автор многих критических статей: о творчестве Горького, Маяковского, Бабеля, Хлебникова, Мандельштама, Цветаевой, Багрицкого, Берггольц, Пастернака и др.

В 56 г. Синявский пишет повесть «Суд идет» и статью «Что такое социалистический реализм», в 61-62 гг. — повесть «Любимов». С конца 56 г. Синявский начал пересылать свои произведения (главным образом прозу) за границу, где они публиковались под литературным псевдонимом Абрам Терц отдельными изданиями и в разное время.

В 61 г. Синявский становится членом Союза писателей.

8. 9. 65 г. КГБ арестовывает Синявского в Москве. С 10 по 12. 2. 66 происходит суд над Синявским и Ю. Даниэлем (см. его биографию ниже). Верховный Суд РСФСР присуждает Синявского за публикацию за границей «антисоветских» произведений к 7 годам лагерей строгого режима. (За границей изданы следующие произведения Синявского-Терца: «Фантастические повести: В цирке. Ты и я. Квартиранты. Графоманы. Гололедница. Пхенц»; «Суд идет», «Любимов», «Что такое социалистический реализм». Изд-во Международное Литературное содружество. Нью-Йорк, 1967. Отдельным изданием — «Мысли врасплох». О судебном процессе Синявского-Даниэля см. «Г р а н и» 60/66 стр. 94 и 62/66 (целиком); «Белую книгу по делу А. Синявского и Ю. Даниэля. Составитель А. Гинзбург (Москва)», изд-во «Посев», 1970. На немецком: «Weissbuch in Sachen Sinjawschij/ Daniel. Zusammenge stellt von A. Ginsburg, Moskau. Possev-Verlag 1967»).

В 66 г. — в год осуждения Синявского — Ю. Галансков включает в редактируемый им «Феникс-66» две статьи Синявского: «Что такое социалистический реализм» и не публиковавшуюся до этого нигде «В защиту пирамиды» (о творчестве Евг. Евтушенко), см. «Г р а н и» 63/67, стр. 114.

А. Синявский отбывал срок в Мордовских лагерях на лагпункте 11. До сих пор единственное свидетельство о Синявском в лагерях — А. Петрова-Агатова (см. его Открытое письмо Б. Полевому «Кто же сумасшедшие?» в «Посеве» 6/70, стр. 10).

Он пишет: «Здесь... познакомился с Андреем Донатовичем Синявским. ... В советской печати он выглядит как дегенерат и предатель родины. На самом деле это прекрасный христианин, человек высокой культуры, широкого интеллекта, честный гражданин своего отечества, талантливый литератор» (см. о А. Петрове-Агатове в этом же номере «Граней» стр. 103). Освобожден 8. 6. 71 г. Его освобождению предшествовали письма его жены и Ю. Даниэля в Президиум Верховного Совета, в которых выражалась просьба досрочно освободить Синявского из-за сильного ухудшения его здоровья: последний год он должен был работать грузчиком в аварийной бригаде. (См. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 12 и 27, и 9/71; «Посев» 7/71, стр. 19 и 49. О творчестве Синявского-Терца см. статью Б. Филиппова «Природа и тюрьма» в «Гранях» 60/66).

²⁵ ДАНИЭЛЬ Юлий Маркович родился 15. 11. 1925 г. в Москве в семье известного еврейского писателя Марка Даниэля (лит. псевдоним). Со школьной скамьи Даниэль был в 43 г. призван в армию, попал прямо на фронт, был в 44 г. тяжело ранен в плечо, в 45 г. демобилизован с инвалидностью 1 группы. В 46 г. поступает в Харьковский уни-тет, затем переводится на филологический фак-тет Московского областного педагогического ин-тута. После окончания 6 лет преподает в школе. В 50 г. женится на студентке филологического фак-тета Харьковского уни-тета Ларисе Богораз. В 51 г. рождается у них сын Александр. Оба преподают в школе в Калужской обл. В 54 г. переезжают в Москву.

Прозу Даниэль начинает писать с 52 г. Первая повесть — «Бегство» (52-58 гг.) — издана «Детгизом», но не разрешена к продаже; за ней — рассказ «Руки» (56-58 гг.), повесть «Говорит Москва» (60-61 гг.), рассказ «Человек из МИНАПа» (61 г.), повесть «Искушение» (63 г.). Последние четыре произведения Даниэль передал на Запад под литературным псевдонимом Николай Аржак. Все они в разное время вышли разными изданиями под редакцией Б. Филиппова в США в изд-ве «Inter-Language Literary Associates».

С 57 г. Даниэль зарабатывает литературным трудом — переводами стихов: до его ареста вышло около 40 сборников

стихов разных авторов в его переводе. Состоит членом группкома переводчиков.

12. 9. 65 г. КГБ арестовывает в Москве Даниэля, предъявив ему обвинение в антисоветской агитации и пропаганде. С 10 по 12. 2. 66 происходит суд над Даниэлем и А. Синявским. Верховный суд РСФСР выносит Даниэлю приговор за публикацию произведений антисоветского содержания за границей — 5 лет лагерей строгого режима (о судебном процессе см. «Гр а н и» 60/66, стр. 94 и 62/66 (целиком); «Белую книгу по делу А. Синявского и Ю. Даниэля. Составитель А. Гинзбург (Москва)», изд-во «Посев», 1970. (На немецком — см. Синявский). Срок Даниэль отбывал в Мордовских лагерях.

Его жена Лариса Богораз была участницей демонстрации 25. 8. 68 г., устроенной на Красной площади в знак протеста против оккупации советскими войсками Чехословакии. 9. 10. 68 происходил суд, и она была приговорена к 4 годам ссылки. В настоящее время отбывает срок в Иркутской обл. (см. «Посев» 11/68, стр. 4-5 и 8/69, стр. 6; Н. Горбаневская «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади. Сборник документов». Изд-во «Посев», 1970).

В концлагере Даниэль продолжает свое литературное творчество (см. в «Гр а н я х» 77 его поэму «А в это время...», помещенную датой 1968 и местом написания: «Озерный, Мордовия, п/я ЖХ 385/17-а»). Также принимает участие в борьбе своих товарищей по лагерю против несправедливости и жестокости со стороны лагерной администрации. В конце февраля 69 г., после предъявления ультиматума лагерной администрации, поставившего ряд требований нормализации положения в местах заключения осужденных по политическим и религиозным мотивам, участвует в десятидневной голодовке, в результате которой часть требований оказывается удовлетворенной. В апреле 69 г., вместе с Ю. Галансковым и А. Гинзбургом, подписывает «Обращение политкаторжан» к депутатам Верховного Совета (см. «Посев» 7/69, стр. 6). В мае-июне 69 г. принимает особо горячее участие в судьбе объявившего голодовку А. Гинзбурга, пишет заявления во все высшие инстанции, настаивая на

удовлетворении требований А. Гинзбурга и этим стараясь прекратить его голодовку (нельзя забывать, что А. Гинзбург — составитель «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» и расплачивается за нее каторгой). Летом 69 г. в западной прессе появляется письмо Даниэля к его другу (см. «Посев» 9/69, стр. 9) с описанием условий жизни политкаторжан в лагерях и о голодовке А. Гинзбурга (см. «Историю одной голодовки», изд-во «Посев», 1971).

«В промежутках между этими событиями, — пишет Ю. Галансков в своей статье «О пересмотре карательной политики» («Посев» 7/70, стр. 28), — Даниэль и Ронкин (см. его биографию ниже) систематически выявляли недостатки и извращения административной практики в местах лишения свободы... Тем самым они причиняли *постоянное* беспокойство различным должностным лицам, ставил *под угрозу* их служебное благополучие и карьеру. ...На почве этого они *наживали* себе прямых врагов и недоброжелателей *снизу вверх по тройной цепочке МВД, КГБ и Прокуратуры*».

Летом же 69 г. у Даниэля находят новый цикл его стихов и конфискуют в качестве «антисоветских». Все события этого периода, роль Даниэля — защитника заключенных, его письмо, попавшее за границу, приводят к увозу его и Ронкина 7. 7. 69 из лагеря и к новому суду (9. 7. 69) над Даниэлем и Ронкиным. Приговор: перевод обоих во Владимирскую тюрьму до конца срока (см. открытое письмо Александра Даниэля писателю Грэму Грину и редакции газеты «Таймс» — «Гласность — наша последняя надежда» в «Посеве» 1/70, стр. 15).

12. 9. 70 Ю. Даниэль вышел на свободу, но, поскольку лишен права жительства в Москве, поселился в Калуге; обратился с письмом в Президиум Верховного Совета с просьбой освободить А. Синявского (см. «Посев» 9/70, стр. 6 и 10/70, стр. 13, 7/71, стр. 49 и «Посев. Спец. выпуск» 9/71. О встрече с Даниэлем в концлагере см. А. Марченко «Мои показания», гл. «Дубровлаг», стр. 312-21, изд-во «Посев», 1969. О творчестве Даниэля-Аржака см. Б. Филиппов «Природа и тюрьма» в «Г р а н я х» 60/66).

²⁶ ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН Александр Сергеевич, сын поэта Сергея Есенина, родился в 1925 г. в Ленинграде. Математик,

БИОГРАФИИ

философ, поэт. В начале 1949 г. стал кандидатом физико-математических наук МГУ. Автор многих научных работ в области математической логики.

Впервые арестован 21. 7. 1949 за стихи «Никогда я не брал сохи...» и «Ворон» (которые в СССР никогда опубликованы не были) и заключен в психобольницу в Ленинграде. Осенью 50 г. был отправлен в концлагерь в Караганду сроком на 5 лет. Освобожден 25. 12. 53 по амнистии после смерти Сталина.

Летом 59 г. передал за границу через друзей рукопись «Весенний лист»: стихи 1942-58 гг. и «Свободный философский трактат (1. 7. 59)», кончающийся фразой, ставшей «крылатой»: «В России нет свободы печати — но кто скажет, что в ней нет и свободы мысли?» Вольпин просил опубликовать «Весенний лист», не считаясь ни с какими последствиями для автора. А в сентябре того же года он был снова арестован и вторично подвергся заключению в психобольницу. На свободу вышел в сентябре 60 г.

А. Вольпин — один из инициаторов и участников демонстрации 5. 12. 65, устроенной в знак протеста против ареста писателей А. Синявского и Ю. Даниэля и требовавшей гласного суда над ними (см. П. Литвинов «Правосудие или расправа? Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22. 1. 1967 г. Сборник документов». Лондон. 1968, стр. 97).

Осенью 66 г., когда в СССР был принят Указ от 16. 9. 66 «О внесении дополнений в УК РСФСР» — статей 190¹ и 190³, Вольпин письменно обратился в ряд соответствующих инстанций с требованием более точной формулировки этих статей, дающих возможность произвольного толкования законных действий советских граждан (там же, стр. 7).

5. 2. 68 на имя Генерального прокурора СССР, в Верховный Суд РСФСР, Н. В. Подгорному, А. Н. Косыгину и Л. В. Брежневу было отправлено письмо с 170 подписями, требовавшее пересмотра дела арестованных по делу «Феникс-66» Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. Лашковой. Среди 5 фамилий отправителей с их адресами первой стояла подпись Вольпина. Спустя 9 дней, 14. 2. 68, его при помощи милиции и дежурного психиатра р-на в третий раз насильно поместили в

психобольницу: сначала в им. Кащенко, затем в т. н. «Столбы» (в 70 км. от Москвы). Лишь благодаря активному вмешательству 4 академиков и 95 других ученых (см. «Посев»: 4/68, стр. 3-5) Вольпин был возвращен в больницу им. Кащенко и, после трехмесячного пребывания в ней, 12. 5. 68 освобожден. В период его заключения родные и друзья составили сборник документов по его делу, который распространялся Самиздатом (см. «Посев» 3/68, стр. 12).

В течение последних лет Вольпин, как и его друзья, часто участвовал в составлении документов защиты и подписывал их; напр., «Депутатам Верховного Совета Союза СССР...» от 1. 12. 68 (с 93 подписями) в защиту приговоренных участников демонстрации на Красной площади 25. 8. 68, устроенной в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию (см. Н. Горбаневская «Полдень», стр. 441, изд-во «Посев», 1970); «Генеральному секретарю ООН» от 26. 9. 69 в защиту ряда незаконно репрессированных лиц («Посев» 11/69, стр. 2); «Обращение к общественности Советского Союза и зарубежных стран» от 26. 9. 69 (там же, стр. 3) в защиту арестованного 12. 9. 69 А. Краснова-Левитина*; «Президиуму Верховного Совета СССР» в сентябре-октябре 70 с призывом освободить В. Новодворскую, О. Иофе**, А. Марченко (см. его биографию ниже) и ген. Григоренко («Посев» 11/70, стр. 62).

* После короткой передышки, данной церковному писателю и общественному деятелю А. Э. Краснову-Левитину после 11-месячного сидения в «предварительном заключении» (с 12. 9. 69 по 12. 8. 70, см. его очерк «Мое возвращение» в «Г р а н я х» 79, стр. 23), его 19. 5. 71 г. судил Московский горсуд и приговорил к 1 году исправительно-трудовых работ по месту работы с вычетом 20% зарплаты и к 3 годам лагерей общего режима (см. «Посев. Спец. выпуск» 9/71).

** Ольга Иофе, 1950 г. р. которая была арестована за протест против ресталинизации 1. 12. 69 и присуждена Московским горсудом 20. 8. 70 к принудительному лечению в спецпсихобольнице, освобождена в конце июня 71 г. (см. «Посев. Спец. выпуск» 6/71, стр. 12 и 9/71).

Но основное направление деятельности Вольпина последних лет — это детальное изучение советской юриспруденции с тем, чтобы иметь возможность квалифицированно защищать права попавших в беду людей и вести дискуссию с представителями советского права. Эта область его деятельности и дала возможность В. Осипову определить Вольпина в качестве «известного юриста-общественника» и рассказать характерный для его деятельности эпизод.

Материалы Вольпина, выпущенные и распространяемые Самиздатом последних лет целиком подтверждают определение Осипова. Перечислим в хронологическом порядке: «Письмо в редакцию «Известий» (ответ М. Стуруа, предлагающему «вышвырнуть из ООН ряд неправительственных организаций, посвященных правам человека», см. «Посев. Спец. выпуск» 2/69, стр. 39); «Ко всем мыслящим людям» (о необходимости параллельного развития нравственного прогресса и технического, там же, стр. 57); «Открытое письмо генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко» (о преимуществах гласности в судах, там же); «О факультативном протоколе к Пакту о гражданских и политических правах» («Посев. Спец. выпуск» 4/70, стр. 35); «По делу Шаффхаузера. Из протокола допроса 1967 г.» (разбор границ прав свидетелей отказываться от дачи показаний на следствии, там же, стр. 36); «Долг или обязанность?» (об обязанности родителей воспитывать детей в духе морального кодекса строителей коммунизма по ст. 13 «Основ законодательства Союза СССР...», там же); «Вечную ручку Петру Григорьевичу Григоренко!» («Посев» 9/70, стр. 24-30); «Юридическая памятка» (для тех, кому предстоят допросы, см. «Посев. Спец. выпуск» 5/70, стр. 59); «Международный пакт о гражданских и политических правах и советское законодательство» («Посев. Спец. выпуск» 6/71, стр. 59 и 9/71).

²⁷ МАРЧЕНКО Анатолий Тихонович родился в 1938 г. в семье железнодорожника в г. Барабинске (Сибирь). Проучившись в школе 8 лет, уехал по комсомольской путевке на сибирские стройки. Работал в разных местах и на разных работах, получил профессию бурового мастера. Последним перед аре-

стом местом была Карагандинская ГРЭС. В результате стычки соседей по общежитию с чеченцами был схвачен со всеми вместе, арестован, судим и отправлен в Карагандинские лагеря. Оттуда бежал с напарником, чтобы перейти Иранскую границу, но в 40 м. от нее был пойман. КГБ предъявил Марченко обвинение в измене родине. После 5 месяцев пребывания в одиночке в следственной тюрьме Верховный суд Туркменской ССР (при закрытых дверях) приговорил его к 6 годам лишения свободы.

По роду обвинения Марченко попал в каторжные лагеря для политзаключенных. Отбывал срок в Мордовии. Затем, после попытки побега из лагеря, был отправлен во Владимирскую тюрьму, после чего снова возвращен в Мордовские лагеря. Там он встретился с только что прибывшим туда писателем Ю. Даниэлем (см. книгу Марченко «Мои показания», гл. «Дубровлаг», стр. 312-21). Вышел на свободу 2. 11. 66.

Пребывание в концлагерях для политических заключенных превратило Марченко умственно и духовно в политического борца, физически — в инвалида: в лагере он перенес без всякой медицинской помощи менингит, выжил чудом, но последствием болезни остались страшные головные боли и прогрессирующая глухота; результат избиений — кровотечения кишечника.

Еще в лагерях Марченко задумал написать книгу о положении политзаключенных в послесталинских лагерях, о лагерях особого режима, об условиях Владимирской тюрьмы. Это задание он воспринимал как свой гражданский долг, а собственный опыт хотел сделать не только достоянием России, но и всего мира. Марченко оказался самобытным талантливым писателем-публицистом. В октябре 67 г. книга «Мои показания» была окончена и немедленно стала распространяться Самиздатом (см. «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 44). Следует заметить, что писалась она в крайне тяжелых условиях: 5 месяцев больницы — две тяжелых операции, и 5 месяцев в поисках работы и прописки: Курск сменялся Калугой, Малоярославцем, Владимиром, Калининым, Барабинском и, наконец, последнее пристанище — г. Александров Владимирской обл. С мая 68 г. Мар-

ченко живет в Александрове и работает грузчиком в Москве: никакой другой работы, несмотря на тяжелое физическое состояние, он получить не может.

В ответ на распространение книги КГБ начинает подвергать Марченко «негласным» репрессиям: за ним по пятам идет слежка, его избивают на улице, снимают во время поездок с поездов и пр. (см. Л. Богораз «Об аресте Анатолия Марченко» в кн. «Мои показания», стр. 376). Но никакие преследования и репрессии не могут остановить Марченко на избранном им жизненном пути; мужественно и бескомпромиссно продолжает он свое дело, зная, что никакой защиты перед властью у него нет и не может быть. После окончания книги он пишет и рассылает ряд открытых писем — о положении в послесталинских концлагерях: 27. 3. 68 г. редактору «Литгазеты» А. Чаковскому (см. текст в «Посеве» 6/68, стр. 7), 2. 4. 68 — председателю общества Красного Креста СССР (копии: министру здравоохранения, патриарху Алексию, редакторам газет, писателям, юристам — всего 13 адресатам), ставя ряд требований по улучшению положения политзаключенных и призывая своих высокопоставленных адресатов бороться за них (см. текст там же, стр. 5-7). Наконец 26. 7. 68 г. — за месяц до оккупации Чехословакии войсками СССР — Марченко шлет открытое письмо центральным газетам Чехословакии, в связи с ее новым политическим курсом, одобряя его, делая анализ реакции советской прессы на него и предупреждая о возможности интервенции СССР в Чехословакию (см. текст в книге «Мои показания», стр. 368); копии же рассылает во все центральные советские газеты и на радиостанцию Би-би-си.

Спустя два дня, 29. 7. 68, по дороге на работу Марченко был схвачен на улице и с предъявлением фальшивого обвинения в нарушении паспортного режима заключен в Бутырскую тюрьму (см. «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 29). Уже 1. 8. 68 г. Л. Даниэль-Богораз обратилась с листовкой «Об аресте Анатолия Марченко» к российской общественности, раскрыв истинную причину его ареста и призвав всех к его защите (текст см. «Мои показания», стр. 376). За ней 8 друзей Марченко (из них

5 уже репрессировано: Н. Горбаневская, Л. Даниэль, П. Литвинов, В. Красин, см. их биографии в «Г р а н я х » 79, стр. 83, «Приложение») написали также обращение «Граждане!» (см. текст в книге «Мои показания», стр. 380) в защиту арестованного. В общей сложности было послано в защиту Марченко 60 протестов против его ареста, в том числе и ак. Сахарова. Кроме этого друзья Марченко выпустили через Самиздат подборку документов по делу его ареста, его открытые письма, отзывы на его книгу «Мои показания» (в частности, письмо свящ. С. Желудкова «Правдивые свидетельства» в «Посеве» 11/68, стр. 10) и др.

С 7 на 8. 8. 68 была арестована по делу Марченко инженер И. Белгородская, сестра Л. Даниэль, у которой в сумке, оставленной ею случайно в такси, были обнаружены документы по защите Марченко (см. «Посев» 3/69, стр. 2; «Посев, Спец. выпуск» 1/69, стр. 29; «Заявление» в книге «Мои показания», стр. 379 и 390). Белгородская была 19. 2. 69 осуждена Московским горсудом на 1 год лагерей общего режима. Отбывала срок в Мордовских лагерях и вышла на свободу 8. 8. 69.

Суд над Марченко состоялся 21. 8. 68 и вынес приговор: 1 год заключения в лагерях строгого режима. В декабре 68, после долгого этапа, Марченко прибыл в концлагерь, находящийся в Пермской области. Несмотря на все врачебные свидетельства о тяжелом состоянии его здоровья, администрация лагеря отправила его на самые тяжелые строительные работы. Когда же срок заключения (29. 7. 69) подходил к концу, Пермская прокуратура через оперуполномоченного в лагере возбудила против Марченко новое судебное дело 31. 5. 69, и он был переведен из лагеря в Соликамскую тюрьму (см. «Посев. Спец. выпуск» 2/69, стр. 32).

В этот период, 20. 5. 69 г. Инициативная группа по защите прав человека в СССР направила в ООН письмо с 54 подписями в защиту ряда репрессированных лиц, в том числе Марченко и Белгородской («Посев» 7/69, стр. 2-4), но служащие ООН в Москве отказались принять письмо, мотивируя тем, что оно — от частных лиц. 30. 6. 69 было отправлено дополнительное

БИОГРАФИИ

письмо о новом деле Марченко и психобольницах для инакомыслящих (см. «Посев» 10/69, стр. 4-5).

Новый суд состоялся над Марченко 22. 8. 69 в пос. Ныроби в культкомнате лагерной зоны, на котором лжесвидетелями выступали уголовники-рецидивисты. Марченко не признал себя виновным в приписываемых ему «клеветнических высказываниях». Суд присудил его к 2 годам лагерей строгого режима, после чего Марченко вновь был отправлен в Соликамскую тюрьму (см. «Посев. Спец. выпуск» 3/70, стр. 4). Судебный приговор вступил в силу в сентябре 69 г. Но Марченко оставался в пересыльной тюрьме Соликамска еще несколько месяцев и лишь с февраля 70 г. оказался в лагере по адресу: Пермская обл. Соликамский р-н, п/о Красный берег, учрежд. АМ 244/7-8.

По последним сведениям, в феврале и марте 70 г. он был переселен лагерной администрацией в 45-50° мороз в палатку и определен, несмотря на состояние своего здоровья — кровотечения кишечника, малокровие, страшные головные боли и перенесенные до этого две тяжелых операции (одна из них — трепанация черепа), на работу по разгрузке дров для паровозов и на рытье котлована. Он был лишен свидания с матерью и с адвокатом, приезжавшим в лагерь для составления жалобы в порядке надзора. Марченко не передавали письма от родных, посылки с книгами; отобрали бумагу, ручку и даже учебник физики, как «не имеющие политико-воспитательного значения». Состояние его здоровья сильно ухудшилось, у него ко всему началась еще гипертония, и друзья боялись выдержит ли он новое испытание (см. «Посев. Спец. выпуск» 6/71, стр. 37).

Но мечта его, за которую он расплачивается страшной ценой — своей жизнью, — исполнилась: его книга «Мои показания» через Самиздат попала за границу, где была издана по-русски (в частности, изд-вом «Посев», 1969) и на всех главных языках мира. После окончания срока Марченко вышел на свободу (см. «Посев» 8/71, стр. 5).

²⁸ РОНКИН Валерий Ефимович родился в 1936 г. в Мурманске в семье рабочего. По профессии — инженер-технолог. Женат, дочь Марина 1964 г. рождения.

С 54 по 59 г. Ронкин учился в Ленинградском технологическом ин-туте. В этот период был членом ВЛКСМ и членом штаба комсомольского патруля — «дружинников» (вместе с С. Хахаевым, см. его биографию ниже). Вели активную борьбу с хулиганством, часто подставляя себя под нож (см. брошюру «Комсомолия Технологического», Ленинград, 1963).

Окончив ин-тут, инженер Ронкин участвовал в пуске химических и нефтяных заводов Омска, Уфы, Стерлитамака, Куйбышева, Тольятти. Затем снова вернулся в Ленинград, где стал работать в ин-туте синтетического каучука.

В 63 г., в соавторстве с С. Хахаевым, написал книгу «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». Ронкин и Хахаев — оба марксисты; с марксистских позиций выступали «за правильный марксизм против его извращений», критиковали руководство партии и саму партию как несущих непосредственную ответственность за трагедию в годы сталинской диктатуры. Изложив ряд своих мыслей в нескольких статьях, Ронкин и Хахаев объединили вокруг себя несколько человек и назвали свой кружок «Союзом коммунаров». Ни программы, ни устава у «Союза коммунаров» не было. Кружок выпустил два номера машинописного журнала «Колокол», нумерация которого продолжала нумерацию герценовского «Колокола» (см. сведения о Ронкине и Хахаеве в статье Ю. Галанскова «О пересмотре карательной политики», «Посев» 7/70, стр. 28-35; статьи из «Колокола» см. в «Посевах»: 1/68, стр. 11; 4/68, стр. 57).

12. 6. 65 Ронкин был арестован в Ленинграде (см. «Посев. Спец. выпуск» 5/70, стр. 25) и в том же году осужден Ленинградским горсудом на 7 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки. Отбывал срок в Мордовских лагерях (см. в «Посеве» 6/70 о нем и его портрет заключенного художника Ю. Иванова).

В лагерях Ронкин принимает активное участие в борьбе своих товарищей по заключению против жестокости и произвола лагерной администрации и за минимальные права политкаторжан: участвовал в 10-дневной голодовке протеста в феврале 68 г., в коллективной голодовке А. Гинзбурга в мае-июне 69 г. (см. «Историю одной голодовки», изд-во «Посев», 1971).

БИОГРАФИИ

В апреле 69 г. подписывает «Обращение политкаторжан» к депутатам Верховного Совета с требованием пересмотра положения политзаключенных (см. «Посевы»: 7/69, стр. 6; 7/70, стр. 29).

Ронкин, как и Ю. Даниэль, систематически вел в лагере борьбу с нарушением мизерных прав заключенных, обращаясь во все инстанции и восстанавливая против себя чиновников из МВД, КГБ и Прокуратуры, не говоря уже о лагерной администрации (см. Даниэль). Ответом на деятельность Ронкина и Даниэля со стороны властей — был увоз обоих из Дубровлага 7. 7. 69 и предание их суду, который состоялся 9. 7. 69 и вынес приговор: перевод обоих во Владимирскую тюрьму до конца срока. В своем открытом письме Грэму Грину Александр Даниэль проявляет больше беспокойства о Ронкине, чем даже о собственном отце: он пишет, что Ронкин к сроку перевода его во Владимирскую тюрьму был «на грани дистрофии» и что, по его мнению, Ронкина «надо просто спасать. Он не выдержит трехлетнего пребывания в тюрьме» («Посев» 1/70, стр. 15 — «Гласность — наша последняя надежда»).

По последним сведениям, В. Ронкин, в числе других 27 заключенных, принял участие в голодовке, приуроченной ко Дню Конституции и Дню Прав Человека и проводившейся в знак протеста против невыносимых условий Владимирской тюрьмы с 5 по 10. 12. 70. Его адрес: г. Владимир-обл. п/я ОД/1-ст. 2.

²⁹ ХАХАЕВ Сергей — был студентом Ленинградского технологического ин-тута, членом ВЛКСМ. Вместе с Ронкиным состоял в студенческом комсомольском патруле по борьбе с хулиганством. В 63 г., в соавторстве с Ронкиным, написал книгу «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». Марксист. Вместе с Ронкиным писали статьи, критикуя сталинщину и партию с «подлинных» марксистских позиций. Создали марксистский кружок «Союз коммунаров» и выпустили два номера машинописного журнала «Колокол». Арестован 12. 6. 65, как и Ронкин, и приговорен к тому же сроку Ленинградским горсудом: к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки. (См. подробности в биографии Ронкина). Отбывает срок в Мордовских

лагерях (см. о нем «Посев» 7/70, стр. 28-35; «Посев. Спец. выпуск» 5/70, стр. 25).

³⁰ ДРАГОШ Николай Федорович (р. в 1932), родом из Одесской обл., холост, беспартийный. Окончил Одесский у-тет. Работал директором школы рабочей молодежи (ШРМ) Тарутинского р-на Одесской обл. и преподавал математику. Осужден Верховным судом МССР в 1964 г. за создание «Демократического союза социалистов» и изготовление типографским способом брошюры «Правда народу». Приговорен к 7 годам лагерей строгого режима. Срок отбывал в Мордовских лагерях. Из-за участия в голодовках протеста летом 1970 г. 13 июля был переведен во Владимирскую тюрьму. Там снова принял участие в числе других 27 заключенных в голодовке протеста, приуроченной ко Дню Конституции и Дню Прав Человека и проводившейся с 5 по 10. 12. 71. Освобожден 15. 5. 71 г. (См. «Посев. Спец. выпуск» 6/71, стр. 19, 8/71 и 9/71).

³¹ ЗАЙЦЕВ Валерий — судовой механик ремонтно-спасательного судна. Арестован и судим в 62 г. за то, что пытался у берегов Аляски уйти в Америку. Вместе с ним осуждено еще 7 человек команды, о которых ничего неизвестно. Приговорен к 10 годам. Отбывает срок в Мордовских лагерях (см. «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 37).

³² БЕРГ-ХАИМОВИЧ Яков, по профессии слесарь, москвич, беспартийный. Осужден Московским горсудом за попытку создать нелегальную типографию (вместе с В. Айдовым) в 68 г. на 7 лет лишения свободы. Срок отбывал в Мордовских лагерях. За протесты и участие в голодовках 8. 11. 69 г. переведен во Владимирскую тюрьму, где снова принял участие в числе 27 других заключенных в голодовке протеста, приуроченной ко Дню Конституции и Дню Прав человека (см. «Посев. Спец. выпуски» 3/70, стр. 33 и 8/71). Его адрес: г. Владимир-обл. п/я ОД/1-ст. 2.

³³ АЙДОВ Вячеслав — осужден за попытку создать нелегальную типографию (вместе с Бергом). Отбывал срок в Мордовских лагерях. Принимал участие в голодовках протеста в

БИОГРАФИИ

ноябре 69 г. Участвовал 4. 5. 70 г. в трехдневной забастовке заключенных, проведенной в знак протеста против убийства часовым психически больного заключенного. Вместе с другими обращался к генеральному прокурору с требованием расследовать убийство. За это был вторично судим и переведен во Владимирскую тюрьму, где с 5 по 10. 12. 70 г. принял в числе др. 27 заключенных участие в голодовке протеста, приуроченной ко Дню Конституции и Дню Прав Человека (см. о нем «Посев. Спец. выпуски» 3/70, стр. 33, 6/71, стр. 19; 8/71). Его адрес: г. Владимир-обл. п/я ОД/1-ст. 2.

³⁴ МОШКОВ Юрий — по всей вероятности, допущена ошибка при перепечатке манускрипта и речь идет о МОШКОВЕ Сергее.

Мошков Сергей Николаевич родился в семье врачей 8. 9. 1939 в дер. Надбелье Ленинградской обл. После окончания школы был призван в армию, затем работал лаборантом в школе. В 61 г. поступил на биофак ЛГУ. Стал членом нелегального марксистского кружка «Союз коммунаров». Был арестован 12. 6. 65 г. по делу «Союза коммунаров» и журнала «Колокол» (вместе с В. Ронкиным, С. Хахаевым и др. См. подробности об этом в биографии В. Ронкина выше). Летом 65 приговорен Ленинградским горсудом к 4 годам лагерей строгого режима. Отбывал срок в Мордовских лагерях вместе с В. Ронкиным, Ю. Даниэлем и др. Вместе с двумя последними принимал участие в 10-дневной голодовке протеста в феврале 68 г., затем выступал в защиту голодавшего в мае-июне 69 г. А. Гинзбурга. Освобожден 12. 6. 69 г. (см. о нем: «Посев. Спец. выпуски»: 1/69, стр. 11; 2/69, стр. 43; «История одной голодовки», изд-во «Посев», 1971).

³⁵ ХАНЖЕНКОВ Сергей родился в 1942 г. в Белоруссии в семье служащего. Окончил 4 курса белорусского Политехнического института. Арестован в 63 г. Обвинен в измене родине: попытка создания антисоветской организации и подготовка диверсионного акта. Приговорен к 10 годам лагерей строгого режима. Отбывает срок в Мордовских концлагерях (см. о нем «Посев. Спец. выпуск» 8/71).

³⁸ ТАРНАВСКИЙ Николай Андреевич (р. в 1940), украинского происхождения, уроженец Кировоградской обл. Был членом ВЛКСМ. Образование среднее, по профессии — учитель средней школы. Преподавал труд в школе, где был директором Драгош. Арестован в Одессе и осужден Верховным судом МССР (по одному делу с Драгошем, см. выше ДРАГОШ).

Приговорен к 7 годам лагерей строгого режима. Отбывал срок в Мордовских лагерях. Принимал участие в голодовках протеста в ноябре 69 г. и летом 70 г. 13 июля 70 г. переведен во Владимирскую тюрьму, где снова принял участие в числе др. 27 заключенных в голодовке протеста, приуроченной ко Дню Конституции и Дню Прав Человека и проводившейся с 5 по 10. 12. 71. Освобожден 19. 5. 71 (см. «Посев. Спец. выпуски» 3/70, стр. 33; 6/71, стр. 19; 8/71 и 9/71).

Казнь Понтия Пилата

Предлагаемый читателю разбор романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» я записал и теперь, с любезного разрешения российского докладчика, пожелавшего остаться анонимным, публикую.

А. Александров

Постараюсь дать мою интерпретацию «Мастера и Маргариты» — моей любимейшей книги. Для меня этот роман по значительности, глубине, таланту — одна из книг века. Я много думал над ней, ибо с самого начала мне бросилось в глаза, что эта книга в действительности содержит больше того, чем заметно из ее поверхностного анализа. «Уликой» тому — странность ее композиции; у этой книги — композиция разорванная: сцены Москвы, сатирические, а иногда и печальные, перемежаются с патетическими сценами Иерусалима; между героями романа нет видимой связи: почему-то какие-то московские пошляки, администраторы, трепачи и жулики фигурируют наравне с Понтием Пилатом, Иисусом Христом, дьяволом-Воландом; прекрасные женщины, как Маргарита, — наравне с воровками и кухонными скандалистками. В чем тут дело? Что объединяет всю книгу в нечто целое? Что лежит в ее поддонном слое?

И вот мне показалось, что путем к расшифровке может служить *структурный* анализ книги. Надо рассмотреть, какой смысл заключен именно в композиционной ее стороне.

Прежде всего, попробуем дать характеристику — очень схематичную — тому, что представляет собой традиционный европейский христианский роман. Вся-

кий такой роман, — не рассказ, не новелла, а именно роман, — немыслим и не может быть определен как роман, если он не посвящен нравственной теме. Ей же сопутствует, в частности, и социальная тема, ибо основной ее интерес — освещение проблемы справедливости в человеческом обществе, а справедливость — понятие, конечно, нравственное. Эта взаимосвязь обеих тем и позволяет нам говорить о социальном нравственном начале.

Итак, традиционный европейский роман, который как обязательный принцип всегда содержит нравственное начало, можно изобразить схематически и сжато так: представим себе некую ось, идущую от одного полюса, на котором находится дьявол — греховное темное начало, к другому полюсу, на котором находится Христос — начало добра, света. Эти, говоря условно, две фигуры, расположенные на противоположных концах оси, полярны друг другу.

На самой оси находится человек, герой романа, который волей сюжета, силой своих страстей, мечется по этой оси от одного полюса к другому. Он может нисходить вглубь — в бездны греха, сомнения, отчаяния, разочарования в познании и понимании устройства мира (вспомним Фауста, которого отравило знание); он может в конце романа, если тот кончается благополучно, взойти наверх и воссоединиться с Христовым светом, с Христом. Но не забудем одного: воссоединение героя с Христовым светом связано с опрощением души, с возвращением ее к детскости, с таким отношением к Христу, каким оно бывает у маленького ребенка к отцу, у агненка — к пастырю.

Часто на жизненном пути героя романа, мечущегося по оси, встречается женщина, которая либо тянет его вниз (как, например, «дьяволица» Манон Леско, которая губит шевалье де Грийе), либо помогает подняться наверх (как, например, «голубица» Сонечка Мармеладова).

Такова, примитивно выраженная, без детализации, схема европейского христианского романа.

Мне кажется, что Булгаков с некой скрытой дискуссионностью, с внутренним полемизмом, попытался построить свой роман по другой, новой схеме. Он (и это связано с его личной — общеизвестной — судьбой) решил, что его роман будет построен по двум осям: одна — традиционная, ее не обойти, а другая ось ляжет поперек первой, и они пересекутся. Вторая ось, как и всякая, имеет также два полюса. Что же находится на концах этой второй оси?

На одном конце ее — Мастер с большой буквы. Мастер — это человек, наделенный даром творчества. Он способен творить из пустоты, из ничего, из самого себя — бессмертные произведения, произведения искусства.

Но он — творец не в том смысле, в каком мы считаем Творцом Бога. Он — человек и остается человеком. И для того, чтобы творить, он, по Булгакову, должен иметь по одну свою руку — правую — Христа, то есть начало добра (потому что нельзя писать роман, который не был бы в своем существе добр: романисту просто нечего будет сказать, если он не позвонит в своем романе в колокол добра). По свою левую руку — ошуюю — Мастер должен иметь дьявола, потому что только дьявол, дьявольское начало дает человеку-творцу — Мастеру — возможность проникнуть в самые тяжелые, самые страшные, самые мрачные тайны человеческой души, возникающие под влиянием человеческого бытия. При этом достаточно сослаться на Достоевского, который, вероятно, как никто иной, глубоко проанализировал человеческую душу в ее мраке, патологии, в ее мотивах ужасных, почти неопишуемых. И всё это — тоже правда, вся эта мрачная правда князя тьмы. И без этой правды и ее понимания Мастер так же не может написать великий роман, как врач не

может излечить человека, как бы пламенно он ни желал быть спасителем и целителем людей, если не будет знать его анатомии со всеми ее подробностями, знать совершенно трезво, сухо и до конца. Только тогда он сможет это делать.

Итак, перед нами крест, образованный двумя осями. Напоминаю: на первой, вертикальной оси, на ее верхнем и нижнем полюсах находятся Христос и дьявол; на второй, горизонтальной, — на одном конце Мастер, а на другом — кто?

Ответ таков: человеческий сор, клопы бытия, все эти маленькие ничтожества в романе Булгакова: администраторы, варенухи, дамочки, лезущие на сцену, а потом визжащие в лиловых панталонах на улице, когда фокус кончается, жулики, пошляки, бездарности; словом, все те, кто травят Мастера, — не настоящие бесы (бесы в романе Булгакова совсем другие, значительные), а — даже слова для них не найдешь — какие-то мелкие человеческие бесишки.

Значит, в качестве структуры романа мы получили крест с четырьмя началами. Но если роман выстроить композиционно и структурно наподобие креста, то середина его должна быть центром всего романа; и при такой композиции мы вправе ожидать, что в центре-то и будет находиться главный герой романа. Попробуем догадаться, кто же этот герой, а затем проверим, в какой степени наша догадка подтвердится.

По моему пониманию и видению, этот герой — Пилат. А сам роман можно вкратце охарактеризовать как роман о казни Пилата. Пилат находится в середине этого креста и безнадежно, безысходно растягивается во все четыре стороны: к Христу, к дьяволу, к Мастеру и к ничтожествам.

Пилат полюбил Христа, но не смог пойти Ему на встречу, потому что боялся за свою жизнь, за свое служебное благополучие, иначе говоря, потому, что его тянул вниз дьявол. И Пилат растянулся между стра-

хом и любовью, между долгом и подлостью; точнее — между нравственным долгом, который велел ему помочь Христу, и между долгом административным, который велел оставаться ему римским прокуратором.

Пилат — не ничтожный человек, и это очень существенно; поэтому он и не отбрасывается на тот конец оси, где ютятся человеческие ничтожества. Но Пилат — и это тоже очень важно — не творческий человек, в нем нет ничего от Мастера; Пилат никогда не напишет ни романа, ни стихотворения, не сочинит музыки, не нарисует картины; Пилат — крупный чиновник, типичный администратор, генерал — умный, волевой и неталантливый человек. Неталантливость — признак всякого крупного администратора, но это уже другая тема.

Пилат совершает подвиг — не с большой буквы, но и не в кавычках, подвиг особого рода, достойный солдата-администратора, соответствующий Пилату, который находится в самой середине креста.

Говоря условно, Пилат совершает два добрых дела: он убивает Иуду, *посылая* человека его убить; и он убивает Иисуса Христа, *веля* проколоть Его ребра копьем, чтобы окончить Его страдания. Но совершает свои добрые дела так, как никогда бы не сделал ни Мастер (поэт, безобидный и добрый), ни, конечно, какое человеческое ничтожество, неспособное ни на какой подвиг вообще.

Подвиг Пилата — не Христов и не дьволов. Как видим, подвиг для него избран писателем особый — по его функции солдата и администратора: в обоих случаях он *дает распоряжение убить*.

В чем же трагедия Пилата? И в чем именно перекликается она с личной трагедией самого писателя? Трагедия Булгакова заключалась в том, что он не мог понять и примириться с тем, почему окружающая его московская интеллигенция ему — своему же брату-писателю, художнику — в нужный момент не помогла

выбраться из того трагического писательского и житейского положения, в котором он находился в сталинскую эпоху.

В воздухе отчетливо ощущался «пилатизм». Поэтому Пилат и стал главным героем романа. В его образе Булгаков воплотил «пилатизм» — то есть неспособность совершить подвиг настоящий, полноценный, в котором и речи не было бы о самом себе, о своей судьбе.

За свой «пилатизм» Пилат и был казнен — распят в этом неопределенном состоянии в центре креста. Казнен за то, что не посмел бросить всё и спасти Иисуса, за то, что *струсил*. И казнь его длится почти две тысячи лет.

В конце концов, Пилата спасают все: за него просит Маргарита, его отпускает от себя дьявол, его принимает к себе Христос. Но главный, кто спасает его, — это Мастер. Спасает тем, что *заново* воссоздает его в своем романе. История Пилата — это символ, который значит больше, чем иная конкретная история.

Интересно, что Булгаков в своем романе как бы предчувствовал спасение России через человеческий талант. И здесь можно было бы провести параллель между ним и А. Солженицыным, который словами Иннокентия Володина в «Круге первом» говорит:

«... — Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда? А большой писатель в стране ... — как бы второе правительство»^{*)}).

Я уже упоминал, что в традиционном — одноосном — романе героя сопровождает, как правило, женщина — в качестве обертона, или эхо, или тени, отбрасываемой героем, или его двойника, но не повторяющего ге-

^{*)} См. Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Том четвертый, стр. 503. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1970. — Р е д.

роя целиком, а как бы создающего его контур, который делает образ человека объемным и воздушным.

Почти в каждом настоящем романе мы можем обнаружить такой обертон героя: например, у Дон Кихота (это даже и не женщина) — Санчо Панса, у Раскольникова — Соня, у Мастера — Маргарита.

Маргарита сюжетно и композиционно вьется вокруг Мастера: то следует за ним, как бегущая тень, то — вместе с ним, то — от него, то — к нему. Но она повторяет Мастера *особым* эхо, отличным от других эхо в романе. Маргарита — из тех героинь, которые обладают огромной силой человечности и любви. Она совершенно запросто решает стать ведьмой. Почему? Да потому, что этим она может спасти Мастера. Она не ценит ни своей чести, ни порядочности (в романе прежнего времени она не ценила бы своей религиозности), когда речь идет о настоящем подвиге, о спасении человека.

Маргарита есть воплощение акта любви в жизни. Но христианство и есть любовь, чего, например, не понимает Иван Бездомный, воспринимающий христианство лишь внешне и формально и совсем не чувствуя в нем главного — любви. Заряд любви в Маргарите превращает ее в самостоятельное активное начало, способное к спасению осужденных. И Маргарита находит таких: она спасает Фриду, в течение тридцати лет находящую вновь и вновь на ночном столике платок, которым она задушила своего ребенка. И что при этом совершенно замечательно: Маргарита спасает Фриду ценой спасения Мастера. Вспомним: она ведь стала ведьмой и пришла к Воланду, чтобы спасти Мастера. Но со всей женской непосредственностью, расходуя свое право у дьявола на исполнение только *одного* ее желания, она, отдаваясь порыву жалости, *первой* спасает Фриду. И только потому, что дьявол дарит ей второе право на исполнение желания, она может спасти

и спасает Мастера. А Мастер уже спасает, воскрешая в своем романе, Пилата.

Но если Маргарита, как я сказал выше, — эхо Мастера, то кто же эхо главного героя романа — Пилата? Кто композиционно, художественно дублирует его? И тут, мне кажется, у Булгакова совершенно потрясающая художественная находка: у Пилата есть эхо... Но оно, по положению Пилата, не может быть ни от Христа, ни от дьявола, ни от Мастера-человека, ни от ничтожества. Попробуем угадать, кто это эхо, повторяющее Пилата странным, я бы сказал, полуироническим образом? И если оно не находится ни на одном из полюсов, то ответ может быть только один: собака!

Пилата сопровождает гигантский пес — его хранитель, который, говоря иронически, предан ему чудовищно; собака — это единственное существо, кто не предаст Пилата, того самого Пилата, который предал Христа!

И в самом деле, если вдуматься, — собака, конечно же, не от Христа; но собака и к дьяволу не имеет отношения; собака — не Мастер, она не напишет романа, она и говорить не умеет; но собака в то же время — совсем не ничтожество: она — благородное существо. Вот каким образом Булгаков нашел для Пилата эхо — совершенно новое, не похожее на известные нам: эхо другого звука, тень иного цвета, но художественно это именно то. Собака — это «Санчо Панса» Пилата.

Теперь о Мастере: в отличие от Пилата, который в конце романа прощен и уходит к Христу, Мастера, который всем хорош, не берет к себе ни Иисус Христос, ни дьявол; Мастер получает только то (и тут вспоминается Пушкин), что может получить Мастер, человек, занимающий совершенно особое место — свой полюс на человеческой оси; Мастер получает *покой и волю*. Напомним стихотворение Пушкина, написанное им в 1836 году, — одно из его последних:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит,
 Летят за днями дни, и каждый час уносит
 Частицу бытия, а мы с тобой вдвоем
 Располагаем жить. И глядь — все прах: умрем!
 На свете счастье нет, а есть покой и воля.

«К жене»

Мастеру отводится домик, окруженный цветами, заросший жимолостью, сиренью, плющом, в котором стоит фортепьяно, горят свечи, где с ним будет Маргарита. Он обрекается на вечное сидение в этом благополучии, которое ассоциируется с немецким восемнадцатым веком, его домишками и засаленными колпаками. Телом Мастер будет вечно стар, а душою вечно юн; с ним будет нестареющая Маргарита; он будет вечно думать свою думу и, может быть, писать другие вещи. У него будет вечно *покой и воля, но не будет рая*, потому что он никогда не откажется от знания, которое черпает у дьявола.

В романе есть еще одна интереснейшая, совсем отдельная тема, которую, мне кажется, стоило бы серьезно проанализировать, — это поразительная серия казней предателей. Например, казнь Иуды и другого предателя — барона Майгеля на балу. Между обеими казнями имеется совершенно определенное соответствие. Есть и другие предатели со своими судьбами; все они, как и их казни, разнообразны и разыграны на манер четырехголосной фуги Баха: повторяют друг друга разными голосами, сплетая один и тот же узор.

Каждому в этом романе воздается свое.

Ничтожествам — на их полюсе человеческой оси — дьявол устраивает представление с фокусами, потому что суеверные ничтожества верят в то, что фокусник может на сцене создать заграничные туфли и шелко-

вые трусики для дам. Бесы дурачат их, воплощаясь в те образы, которые соответствуют духовному уровню этих ничтожеств, и тем самым воздают им заслуженное.

Мастеру, как я сказал выше, воздаются покой и воля.

Пилат со своим верным псом проходит на горé испытание одиночеством и, в конце концов, отпускается наверх — договорить с Христом о самом важном.

Дьявол и все его бесы меняют свой облик — становятся рыцарями, серьезными, печальными, важными. И что при этом совершенно замечательно: об их судьбе и прошлом дается лишь несколько намеков, но до конца они не расшифровываются. Это замечательно потому, что дьявола и его помощников художественно нельзя раскрыть — эти силы непостижимы и всегда должны оставаться в тайне.

Христос и дьявол остаются навечно разделенными на противоположных концах другой оси.

Интересно, что в романе всё, связанное с образом Иисуса Христа, проходит под знаком *солнечного* света, — ужасного палящего солнечного света, от которого у Пилата раскалывается голова, которым залит Иерусалим и который меркнет, когда свершается казнь над Иисусом Христом. Всё, что относится в этом романе к дьяволу, что происходит на этом полюсе, — залито *лунным* светом. Это употребление солнечных и лунных пейзажей — часто декоративных, постановочных, — глубоко символично в романе Булгакова.

Что касается образа Христа: Он так же не расшифрован писателем, как и темные силы. Но что в этом изображении замечательно и очень понятно для всего замысла романа: в нем тщательно обойдены традиционные муки распятия (в смысле гвоздей и прочего). Христос не пригвожден, а только привязан веревками. Он висит и умирает от солнца и жажды.

Христос, по Булгакову, казним светом и жарой. В этом я вижу очень важную деталь, что касается философской и художественной части романа. Изображение физических мук Христа, как об этом писалось в книгах и изображалось на картинах средневековья, — не для булгаковского романа. Он, как мне кажется, задуман совершенно в ином плане: Христос должен погибнуть от того Света, который Он представлял на земле как Богочеловек. А Свет идет от Бога-Отца. И Христос казним именно этим Началом, а не такой мелкой человеческой гадостью, как кованые гвозди. Когда же Он умирает, *света больше нет*. Наступает тьма: черная туча, надвинувшаяся на Иерусалим, гроза.

А как гибнет Иуда? Он идет в Гефсиманские сады, куда его привлекает Низа — тень и эхо Иуды — и куда прокрадываются его убийцы. В садах гремят и свищут соловьи, и всё (обратим на это внимание!) залито *лунным светом*. Иуда гибнет при апофеозе лунного света.

Перед нами типичный художественный контраст: гибель Христа от солнечного света и гибель Иуды — при лунном. Но кто такой Иуда? Иуда — предатель. Иуда — это тридцать сребреников. А уж что может быть подлее, чем предать за деньги! И, конечно, Иуда — целиком от дьявола.

В случае Иуды мы вновь сталкиваемся с одним из многократно повторенных в романе мотивов предательства и казни предателя. Но не всегда в «Мастере и Маргарите» предательство наказывается смертью, как было с Иудой, бароном Майгелем или Берлиозом (за которым водятся немалые грехи, но о них мы можем только догадываться). Например, критик Латунский — его не убивают. Латунскому — и в этом проявляется характерный для Булгакова юмор и его убийственная ирония — громят квартиру, что, по-видимому, для него не лучше, чем быть убитым, потому что он — московский пошляк. Латунский — профессиональный литератур-

ный доносчик, делающий себе карьеру на том, что губит Мастера, настоящего писателя, «литературными» средствами. Казнь Латунского — комическая, унижительная казнь. По Булгакову, он даже не заслуживает смерти. Как видим, мотивы казни, каждый раз изображенные по-новому, уподобляясь, как я сравнил выше, голосам фуги, видоизменяются в зависимости от самого предателя.

Подытожим сказанное: роман посвящен казни Пилата; структурно и композиционно он представляет собой крест, в середине которого распят Пилат между четырьмя началами-полюсами: Христовым, дьяволовым, высшим человеческим — творческим (в образе Мастера) и низшим человеческим (в образе ничтожеств). Как видим, композиция романа чрезвычайно стройная по своему замыслу и включает в единое целое то, что представлялось на первый взгляд разрозненными фрагментами.

Пилат будет прощен. Основные «орудия» его прощения: творчество и любовь. Эти «орудия» несут в себе Мастер и Маргарита: Мастер — писательский талант, Маргарита — любовь к Мастеру и людям. Здесь я хочу снова подчеркнуть один очень важный, с моей точки зрения, момент, о котором упоминал уже выше: Мастер «сотрудничает» не только с Христом, но и с дьяволом. Поэтому сам он получает не рай, а покой и волю. Следовательно, и Пилат, по Булгакову, будет спасен не только Христовым прощением, но и прощением другой — полярной Христу — силы. И обе они будут действовать *только* через Мастера: он выручит Пилата, воскресив своим творчеством его образ и этим исходатайствовав ему прощение перед обеими силами мира: светлой и темной, солнечной и лунной.

Остается еще сказать о четвертом конце креста, о полюсе, на котором находятся ничтожества.

Представим себе человеческую ось: на ее правом полюсе помещается Мастер, от которого вправо и влево на другой, вертикальной, оси соответственно находятся Христос и дьявол в качестве двух источников, питающих творчество Мастера, который создает нечто самостоятельно ценное; на левом полюсе человеческой оси помещаются ничтожества, у которых, наоборот, по правую руку оказывается дьявол, а по левую — Христос.

Какое же отношение имеют ничтожества к Христу и дьяволу? С одной стороны, они все-таки люди и их нельзя так уж запросто истолочь в ничто. В лучшем случае — они тоже Христовы овцы, но самые ничтожные, глупые, заблудившиеся овцы. С другой стороны, в них присутствует, явно перевешивая, дьявольский элемент; он заставляет их живо откликаться на комедию всех этих бегемотов, фаготов, коровьих, гелл и легко поддаваться дурацкой фокусничающей бесовщине, отнюдь не охватывающей всего страшного смысла и значения дьявола, а представляющей его лишь в том виде и на том уровне, на каком он может быть воспринят ничтожествами. И вот в этих обликах мелких озорничающих бесенят дьявол дурачит, высмеивает ничтожества, измывается над ними и щедро раздает им марионеточные оплеухи.

Можно было бы остановиться еще на многих моментах романа. Например, — время: заметили ли вы, что действие романа длится всего четыре с половиной дня, начавшись в Страстную среду и окончившись в день Светлого Христова Воскресения — на Пасху?

Или что многое происходящее в романе особым образом перекликается между собой, например: действия Пилата (в историческо-евангельском плане) с действиями москвичей (в плане повседневности)?

Или что существует определенная параллель между апокрифом о Богородице, сошедшей для спасения грешников в ад, и историей Маргариты, тоже спустив-

шейся в ад и спасающей на балу у Воланда Фриду и Мастера?..

Я прочел «Мастера и Маргариту» четыре раза. Читая в последний, пытался проверить, в какой степени изложенное мною здесь понимание романа совпадает с тем, что написано Булгаковым. Ведь могло стать, что моя интерпретация — надуманная. Должен сказать, что при четвертом чтении я нашел еще больше подтверждений своей трактовке, чем при первых.

Последний мой вопрос — к самому себе — таков: сознательно ли Булгаков замыслил и построил роман так, как я вам изложил, или это произошло в силу художественной интуиции писателя?

Ответить себе на этот вопрос я не могу — не знаю. Структурные, композиционные, архитектурные замыслы литературного произведения могут производить впечатление очень ясных, но восприниматься художником подсознательно. И я вполне готов поверить, что крестообразная схема, явившаяся мне и не кажущаяся искусственной, возникла у Булгакова интуитивно и не в виде схемы, а как живое начало, и он чутьем большого художника воспроизвел эту ясную красивую симметрию просто по внутренним законам искусства, которое требует гармонии...

Малые эссе

Счастье

Русское слово «счастье» сливается по своему значению то с удачей, то с радостью. Первое несколько устарело, оно сохранилось в поговорках (счастлив в картах — несчастлив в любви и т. д.). Несколько меньше — в отрицательной форме (несчастье — большая неудача, неудача с роковыми, непоправимыми последствиями). Но в положительном смысле слова «счастье» на первое место выдвинулось переживание, связанное с удачей, — радость, и это подавило первоначальное значение.

Можно быть счастливым беспричинно. Можно быть счастливым, несмотря на неудачи, даже несчастья.

В развитии семантики слова «счастье» сказалась стихийная мудрость языка: обстоятельства могут сделать счастливого человека несчастным, но есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не умеют быть счастливыми. И величайшая удача в жизни — это способность к радости. Глубокой, устойчивой радости. Уходящей на время вглубь и всплывающей вновь. Что бы ее ни вызвало!

Ребенок всегда способен к счастью и счастлив, когда играет, когда чувствует любовь матери и любит ее. А многие большие люди слишком озабочены для счастья. Они думают о завтрашнем дне (или о вчерашнем), о том, какие несчастья были с ними или могут быть, ка-

Отрывок из книги «Неопубликованное (Большие и малые эссе)», распространяемой Самиздатом. Полностью книга в ближайшее время выйдет в изд-ве «Посев». — Р е д.

ких внешних условий счастья им не хватает, с утра до вечера делают работу, которая сама по себе не радует их, лишь бы не умереть под забором, — и проходят мимо счастья, которое всё в настоящем, в сегодняшнем дне, и не в вещах, а в нашей способности откликаться вещам — простым, естественным, даровым: небу, дереву, человеку.

Многие могут испытать вкус счастья, только выпив и заставив уснуть заботы вместе с разумом. Многие вынуждены пить, чтобы заглушить голос совести или чувство страха. Вольному — воля, а пьяному — рай. Для счастья нужно очень немного. Любить что-то больше самого себя, видеть или прикасаться к нему и забыть обо всем остальном. Внутренняя трудность счастья в том, что одна любовь сталкивается с другой (любовь к семье и — к правде, любовь к родине и — к свободе). Внешняя — в том, чтобы освободить свой ум от созерцания клетки пространства и времени, в которую мы заперты. На помощь любви приходит опьянение, сон и игра. Какие-то волны цвета, звука, пространственных и логических форм всегда нас окружают и охватывают; играя, дети строят из них гармонические ряды и в этом царстве свободы становятся самими собой, находят свое счастье.

Взрослые могут поступать так же, но им многое мешает. Во-первых, мешает несерьезное отношение к игре. Дети в своих играх подражают высшему, на которое можно показать пальцем, — взрослым. Положение взрослых труднее. На высшее, образом и подобием которого им хочется стать, пальцем не покажешь; и многие думают, что стремиться к тому, чего нет, несерьезно; серьезно они относятся только к тому, что необходимо: есть, пить, одеваться, иметь не слишком плохое правительство и так далее. Игры взрослых людей — только разминка, перекур, отдых. Так, во всяком случае, думают серьезные люди. Правда, большинство людей несерьезно: новости спорта волнуют их больше,

чем политические события. Но это считается признаком глупости, — да так оно, пожалуй, и есть.

Необходимое подчиняет своему ритму, превращает в раба, в программированную машину. Нельзя оставаться самим собой, занимаясь необходимым больше, чем это действительно необходимо, — отдавая себя всего достижению практической цели. Опыт показывает, что никакая цель не оправдывает средств, если по пути к ней человек теряет себя. Достигнутое оказывается пустым и бездушным, не радует и не удовлетворяет.

Но спорт и другие игры взрослых людей только чуть-чуть шевелят душу. Только в некоторых особых играх взрослый, как ребенок, чувствует себя образом и подобием чего-то высшего, свободным существом, царем вселенной. Такой игрой были религиозные обряды. Такие игры — искусство, любовь; для математиков, чувствующих форму числовых символов, такой игрой может быть их наука и так далее. Эти особые игры взрослых — подражание миру, которого нет в пространстве и времени, миру, которого мы не знаем, — быть может, создание нового. Они поднимают над будничным, дают чувство духовной бесконечности, они создали человека из животного и каждый день вновь создают его из праха.

Наши близкие родственники — обезьяны более расположены к игре, чем другие животные: они превратили, например, в игру половые отношения (солидные млекопитающие любят только в период течки). Норберт Винер считает, что игра в шифровку и дешифровку дала толчок к развитию языка. Этнографы открыли, что примитивные племена приручают животных ради забавы, и лишь гораздо позже домашние животные были использованы. А то, что математики занимаются своей наукой, ничего не думая о потребностях производства, достаточно хорошо известно. Но ученые были бы обижены, если бы их занятие назвали игрой.

Надо найти особое слово для высших игр взрослых людей.

Раньше, когда была религия, говорили: «святое искусство», «святая любовь». Таким образом, некоторым играм приписывалось мистическое значение, и это давало им положение в свете. На языке науки это положение трудно описать. Наука расшатала религию, но не может создать систему ценностей взамен религиозной. Фрейд — почтенный ученый, но он не способен заменить Амура. Прилагательное «научный» увеличивает ценность только явлений науки; «научное искусство», «научная любовь» — нелепые сочетания слов. Скорее имеет смысл сочетание «изящная теория». Но может ли искусство стать мерой всех ценностей — в том числе и научных, мерой, которой была религия? Без нее человеческая душа не может выбраться из хаоса.

Счастьем взрослых мешают также забота, нечистая совесть, страх. «Храбрый умирает однажды, трус — тысячу раз». Из страха перед страданием человек часто подавляет и умертвляет свою способность откликаться на поэтическое чувство; чтобы не потерпеть поражения в борьбе за необходимые блага, воспитывают в себе сухость и жестокость. «Бойтесь первого движения души, — учил Талейран, — оно обычно самое благородное». Нечистая совесть заставляет замыкать сердце, чтобы, заглянув в него, не испытывать боли. Но «хрупкое растение счастья» (Стендаль) не может вырасти на окаменевшей почве. Жюльен Сорель мог сделать карьеру Растиньяка, но предпочел положить голову под нож гильотины, чем еще раз солгать: маска начинала прирастать к лицу. Невелика радость — стать счастливым в глазах мещан и дрянью в своих собственных. Иногда некрасиво не только быть знаменитым, но даже остаться в живых. И в камере, в недолгие дни до казни, Жюльен, быть может, испытал больше счастья, чем выбрав другой жребий и став супругом маркизы де ля Моль, вельможей и подлецом.

Стендаль был милостив к Сорелю и прислал к нему в камеру мадам де Реналь. В предельных ситуациях так не бывает.

Старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Боги — на стороне победителей, Катон — на стороне побежденных. Здесь разговор о счастье вообще теряет смысл. Если остается только выбор между смертью и мучениями совести, стремление к счастью заходит в тупик, нужны другие принципы, чтобы сделать этот выбор разумным.

Счастье не является высшим принципом, которому можно подчинить всю человеческую деятельность, и Милль прав: несчастный человек выше счастливой свиньи. Но надо ясно понять, что это значит.

Современное искусство охотно, даже слишком охотно изображает неврастеников, душевнобольных, инстинктивно предпочитая их нормальным мещанам. Однако свинья не счастлива, она только сыта и довольна; это — гармония со средой, основанная на безличности, на отсутствии самостоятельного проекта. В подсознании мещанина дремлют подавленные порывы; вырываясь наружу, они разрушают карточный домик мещанского счастья. В психозах, как в раковой опухоли, разрастается искаленная человеческая сущность, в болезненной раздражительности — способность к более острым впечатлениям, чем те, которые необходимы для добропорядочной службы. Без высокой чувствительности человек не знает ни счастья, ни несчастья. Поэтому способность к несчастью — примета высокоразвитого человеческого существа: поэта, художника, артиста. Но само по себе несчастье — состояние тоски по идеалу, первый шаг к нему, и только. Это состояние

еще наполовину рабское, наполовину навязанное жизнью, а не то, которое человек должен искать, не идеал.

Счастье — не высокая, но достаточно высокая ценность. Способность к счастью — признак гармонической личности, свободной от страха, суеты, запутанности в заботах; личности, способной брать от жизни то, что жизнь дает, и давать ей всё, что жизнь требует. Когда человек, достигнув цели, не чувствует себя счастливым, это значит, что он стремился к ложной (второстепенной) цели, приняв ее за истинную (главную), а главную упустил. Поэтому утрата способности к счастью, характерная для декаданса, — это индикатор душевного хаоса, разброда и шатания ценностей, неспособности найти в жизни главную линию. С высшей, надличной точки зрения, счастье — не цель, но это средство, без которого трудно обойтись: счастливый человек делится с окружающими своим счастьем, неврастеник — своими больными нервами. Вопреки теории Адлера, согласно которой реформатором движет воля к власти, а воля к власти — компенсация неспособности к личному счастью, в жизни часто бывает наоборот. Радищев, Рылеев, Герцен умели быть счастливыми и были счастливы в любви (молодой Герцен). Но счастье, которое они давали одной или немногим и которое они от немногих получали, не было полным, потому что на него падала тень угрюмой и тяжелой жизни других. Счастье живет только в обмене, в передаче от одного другому. Им нельзя владеть, как домом или поместьем, обособившись от других. Только давая, не спрашивая взамен, можно вызвать его к жизни. Только рискуя потерять счастье, можно умножить его.

Схваченное в руки, зажатое в кулак, спрятанное от других, оно исчезает. Достоевский об этом писал: «сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, т. е. никакого более употребления, как от-

давать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет морального человека». Счастье — не цель, а скорее средство, средство, без которого почти так же трудно обойтись, как без рук. Добро не укладывается полностью в рамки счастья, но вне их оно не может быть осуществлено.

Христос принял крестные муки, — но Он не искал их, не носил вериг, не спал на гвоздях; Он любил своих учеников и с радостью беседовал с ними. Он сказал: если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А дети чаще, чем взрослые, счастливы и меньше взрослых боятся утратить счастье.

1958-1966

Очень короткая философия

1. Каждый видит и слышит вещи. Каждый может предположить за вещами какие-то механизмы, управляющие движением: проделки духов, «силы» классической физики или статистические ансамбли электронов. Но есть еще что-то, стоящее по ту сторону всех вещей, домовых, сил и структур. То, что рождает вещи и уравнивает их.

Есть какая-то мировая связь, и человек может подключиться к ней, и когда он подключился, то всё остальное пусть идет из рук вон плохо — это неважно; а когда он не подключился, то всё остальное может быть очень хорошо, но это тоже — неважно.

2. В человеке есть приемник (способность подключиться в цепь) и передатчик (способность действовать).

Приемник подслушивает, если он в порядке, ритм Целого. Тогда появляется желание *выразить* подслушанное каким-то частным действием. Крестьянка выражает себя тем, что выкормила ребенка; Микеландже-

ло — Сикстинской капеллой. Но оба они прежде подслушали, приняли волну откуда-то. Без этого человеку нечего сказать. Сам по себе он ничто. Женщина родит, но ребенок вырастает свиньей. Художник напишет картину, но ее забудут.

Прежде всего, важно, чтобы хорошо работал приемник. Тогда уже будет забота, как ответить, как передать принятое дальше. Можно и помолчать. Есть немые натуры, спящие красавицы, вокруг которых едва осязаемое облако чего-то хорошего. В этом облаке легче дышать. А то, что говорят люди, не способные принять, — один шум, одни помехи, шипение испорченного механизма.

3. Есть много способов настраивать приемник: войти в облако вокруг человека, подключенного в цепь. Войти в его след (в слове, в музыке, в картине). Включиться в цепь, прошедшую сквозь природу. Сблизиться с другим человеком, таким же, как ты. Иногда вдвоем само собой выходит то, что никак не дается поодиночке.

Ребенок растет в облаке нежности, созданном близостью, не понимая, что это она настраивает его, и торопится вырваться, уйти подальше от маминой юбки. Рано или поздно дело сделано, — он свободен. Некоторое время приемник по инерции продолжает работать (инерция иногда тоже хорошая вещь). Потом настройка сбивается. Раз, два удастся что-то подвертеть, третий раз всё идет насмарку. Вместо музыки слышен только собственный шум. И сквозь него — пустота. Чувство пустоты, как физическая боль. Это — сигнал. Можно заглушить его, положить подушку на будильник, принять пирамидон. Но пирамидон не вылечит больной зуб, надо сверлить его и положить пломбу. И пустоту в душе тоже нельзя залить. Прохудившуюся душу надо снова сделать цельной. А для этого есть одно лечение — связать ее с Целым. Надо подключиться в цепь.

К теории зари

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...

День отделяет друг от друга предметы, цвета, даже мысли. Ночь всё смешивает. Зелень сосен борется с ней, становится напряженной, потом сдается, сереет, чернеет. Всё становится черным: из черноты выступают звезды...

В городе мы их не видим. Пока не захочется спать — живем в искусственно растянутом дне. И кажется, что всё можно растянуть: молодость — на всю жизнь, прогресс — на все эпохи.

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!

Курортница, встретившая знаменитого человека*, воскликнула: а я помню вас молодым! Знаменитый человек ответил: а разве я сейчас старый? Старость кажется нам некрасивой, почти неприличной: говорить о ней неудобно, признаваться — стыдно.

Это не всегда было так. Иконописцы охотнее изображали старцев, чем юношей. Старики, нарисованные Нестеровым или Рерихом, согнуты годами, с трудом передвигают ноги, но совсем не хочется омолодить их. В них «душа сбылась» (по слову Марины Цветаевой), и страшно испортить этот драгоценный плод, что-то в нем исправляя, переделывая по-своему работу многих лет, зим, весен, осеней, восходов и закатов... Я не хочу

* К. Е. Ворошилова в Пицунде. — Г. П.

сказать, что старики и старухи вообще прекраснее молодых*; но самое прекрасное в человеке копится медленно, и если удастся накопить его хоть к старости, — оно награждает за все потери.

Самого прекрасного, самого главного в жизни нельзя схватить. И потому не так важно, что годы уменьшают и уменьшают возможность схватывать, присваивать, вкушать. Чем больше человек открыт для потерь, для старости, для смерти, тем легче близость к жизни. Та самая близость, которая в любовном языке XX века заменила слово «обладание». Ибо нельзя присвоить себе череду утра и вечера, света и тьмы. Нельзя выбрать кусок повкуснее и отбросить другие. Бесплезно огораживать сотню гектаров леса, километры пляжа, заводить охрану, собак... Всё это только мешает. Мешает войти в поток и идти вместе с ним.

Всё течет, всё смыкается в круг. День — ученый и строитель. Он разбирает мир на кирпичики и складывает из них свои постройки. Ночь — созерцатель, погружившийся в темноту единого или в призрачный лунный свет его обликов, отражений. А утро и вечер — художники, всегда что-то подмалёвывающие своими длинными кистями, всегда создающие новые миры — между ночью и днем, между днем и ночью. В зорях — утренней и вечерней — есть какая-то особая прелесть. На свет — как на Бога христиан — можно смотреть простым человеческим глазом только в эти часы, когда он рождается или умирает. И странное дело — умирание солнца, света, цвета так же прекрасно, как рождение. Каждый вечер дает нам в этом отношении мягкий урок. А тех, кто не понял его, доучивает старость —

...Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера...

* Такого мнения, впрочем, был У. Уитмен. — Г. П.

Когда солнце склоняется к морю и перестает обогрывать спины, отдыхающие уходят. Едва ли один из двадцати остается посмотреть, как огромный красный шар спускается в зеленую воду. Остальные идут домой. По дороге они говорят: какой закат! Нет, посмотрите — вы этого в Москве не увидите! — и уходят. Когда у красоты очень большой размах, очень широкий шаг, с ней трудно идти в ногу. Или, если хотите, стоять в ногу. Нужен особый диапазон в приемнике впечатлений. Он редко бывает исправным. Средний пляжник способен переваривать красоту только на гарнир, как сопровождение к своим здоровым и разумным занятиям — купанию, солнечным ваннам, бадминтону, картам. Он не слушает шорох прибоя, а включает транзистор. Один на один с первозданной, великой, бескрайней красотой — средний человек теряется.

Совершенно пустое побережье на заре. Даже немногие, смотревшие на закат, уходят. Заря беспредметна. Полоса моря, полоса неба, по ней небрежно, словно обезьяна хвостом нашвыряла, — кучки облаков. Неясно, на что смотреть. Непонятно, от чего захватывает дух. Целое — самое прекрасное в мире — складывается из ничего. И только два-три человека из тысячи с радостью смотрят в эту великую пустоту.

Слово логос, пущенное в философский обиход Гераклитом, имеет оттенок смысла для большинства греков второстепенный: стопа в стихе, ритмическая единица, ритм. И, может быть, Фауст, смущенный переводом первого стиха Евангелия, искал именно этот потерянный смысл: в начале был ритм. Как бы его ни называли — логос, вечно живой огонь, дао, — говорили о нем, когда пытались одним словом высказать Целое. Сперва ритм Целого, потом отдельные предметы. Когда на старых китайских картинах (которые сейчас рвут и сжигают хунвейбины) видишь мудреца, созерцаю-

щего цаплю, или туман в горах, или водопад, — это не ученый, ищущий знаний о цаплях и водопадах. Мудрец и в цаплях, и в тумане, и в заре ищет одно: ритм Целого, дао. И когда его схватывает тот ритм, все неразрешимые вопросы, над которыми бьются люди, становятся легче пепла...

Так что нам делать с розовой зарей? Ничего не надо делать. Надо не мешать ей делать что-то очень нужное с нами...

Пицунда, 1965

Коан

Группа людей попала в одну клетку со стадом обезьян. Клетка заперта. Ключи в руках обезьян. Ключи заколдованы: тот, кто их схватит, сам становится обезьяной. Как выйти из клетки?

Тут общего ответа нет. Надо решать эту загадку каждый день, каждый час, всю жизнь.

Апрель 1966

Бог и Ничто

Что я знаю о Боге? То, что этот образ приходит в голову над пустотой: последним, когда падаешь в нее, и первым, когда возвращаешься назад, еще не различая ничего — где субъект и где объект, где факт и где ритм теней... Мейстер Экхарт из любви к Богу сбрасывает Его в Ничто. Отпадает мертвое, придуманное, а живой возвращается к живому и рождается заново, как в душе Иисус.

Остальное — иконы. Живой Бог — тот, кто воскресает из Ничего. Вера, которая не разрешает сбрасывать Бога в Ничто, делает икону кумиром, и атеизм следует за нею, как тень.

Каждая вера чтит свой образ Божий, свои иконы. Но икона (в камне или в слове) — только подобие, «сеть, которую надо отбросить, когда поймана рыба». Икона прозрачна. Она не застилает вечного света, а только смягчает его, делает выносимым для глаза.

Подлинное нельзя высказать. Всё изреченное — только подобия. Дело совсем не в том, чтобы труп вырвался из могилы и вознесся на небо (то самое, которое взломал Коперник?). То, что произошло с Христом, было гораздо большим чудом. Его смерть вызвала в душах учеников обвал, который длится до сих пор, и Христос тысячу и тысячу раз воскресал в человеческом сердце. Этот сдвиг, этот обвал мертвых пластов в сердце, это торжество жизни и есть величайшее чудо во Вселенной.

Само слово Бог — подобие. Оно так же не имеет прямого смысла, как и другие слова любви. Если бы любимая, в самом деле, стала солнцем или звездой, кому это нужно? То, что высказывается словами, не равенство любимой звезде, а любовь. И Бог — это не равенство чему-то другому. Это слово любви, сказанное жизни. Слабый человеческий отклик из пустоты, взрытой познанием. Познанием Целого.

Декабрь 1963

Реабилитация чёрта

Леониду Ефимовичу — с любовью и благодарностью.

Художники придают ангелам сходство с женщинами и детьми; чёрта рисуют мужчиной. Тут есть какая-то правда. Чёрт — мужчина. На своем месте он так же хорош, как Гармодий, сразивший тирана. Если человечество не может состоять из одних женщин и детей, то идеалы человечества тоже нельзя свести к ангельским ликам.

Говорят, что черти безобразны. Это — условность иконы. Врубель разрушил ее, и мы знаем: демон прекрасен, когда лицо его обращено к Властелину. Чёрт — ангел сопротивления. Но этот ангел становится безобразным, когда сопротивляться нечему. Когда нет ни деспота, ни раба, ни отдельного существа, ни вселенной, когда падают все различия, всё плавится, теряет материю, становится светом. Чёрт не хочет плавиться, он тугоплавок, и в белом свете любви дымит багровым и черным.

Час демона начинается в сумерках. Мир остывает и снова распадается на части. Сама жизнь смотрит тогда на человека двумя разными лицами. И нельзя одинаково глядеть в ответ на машину и на Бога, одинаково отвечать на принуждение и любовь.

«Мудрый подобен зеркалу, — говорил Чжуан-цзы. — Оно отражает тьму вещей, оставаясь ясным и незамутненным».

Ибо есть невидимая ось, вокруг которой всё движется: память о белом накале. Невидимый позвоночный столб связывает организм, не сковывая его, не мешая откликаться жизни, не мешая всплывать из глубины той маски, которой требует роль. Я помню человека, в духе которого рядом жили князь Мышкин Достоевского и франсовский Люцифер. Никакого внешнего порядка не было. Но Люцифер не пытался захватить первое место. Было стихийное чувство жизни, и оно подсказывало, когда говорить князю Льву Николаевичу и когда — бесу гордыни...

Человек должен быть мужчиной по отношению к власти и женщиной — по отношению к Богу. Мы, по большей части, наоборот: мужчины — по отношению к Богу и женщины — по отношению к власти. Иногда — капризные женщины, склонные к гаремным шалостям, интригам и сплетням...

Декабрь 1963

Молодежь в русской истории

9

Если Франция XVIII в. была по сравнению с Англией более отсталой в политическом, экономическом и культурном отношении, если внутренние противоречия во Франции XVIII в. были более обострены и сложны, чем в Англии XVII в., то Россия XX в. как в политическом, культурном и национальном отношении (понимая под этим единство народа и культурных классов, существование общего культурно-исторического идеала для *всей нации*, наличие общих, понятных для всего народа государственных задач), так и в отношении запутанности, обостренности и сложности внутренних противоречий была гораздо более отсталой, чем Франция XVIII века. И в экономическом смысле, понимая под этим термином все материальные достижения машинной цивилизации, мы сильно уступали западноевропейским странам. Что же касается достижений духовной культуры (литературы, искусства, философии, религии и т. д.), то мы не только не уступали, но часто и превосходили Европу.

Франция XVIII века — была *одной из* западноевропейских стран, Россия в XX веке — это целый мир. В этом «русском мире» жили многочисленные народы, резко отличные друг от друга в культурном, религиоз-

См. начало очерка И. Русланова «Молодежь в русской истории» в «Г р а н я х» № 68, 1968 г., стр. 157. Публикуемая работа распространяется Самиздатом. Первая часть ее кончается сравнением предреволюционных ситуаций в Англии, Франции и России и разбором по этапам революций в первых двух государствах. — Р е д.

ном, этническом и экономическом отношении. Народы эти зачастую смертельно ненавидели друг друга; объединяла и сдерживала их взаимную ненависть только власть русского царя. Армяне и азербайджанцы, немцы и латыши с эстонцами, поляки и украинцы — вот главные очаги национальных противоречий. Кроме этого, в Финляндии, на Украине, в Средней Азии развивалось национальное движение, где интеллигенция (а в Средней Азии и Финляндии — и народ) мечтала о независимости и всячески разжигала в народе ненависть к русским. Сильное антирусское движение существовало в Польше. Но особенно важное значение в России имел еврейский вопрос. Этот маленький, необычайно активный и национально сплоченный народ играл в нашей истории совершенно особую, необычную роль. Сильно развитое чувство национальной общности, активность и экономическое влияние еврейства находились в резком противоречии с национальной приниженностью, политическим и гражданским бесправием, с недоверчивым и презрительным отношением к евреям определенной части российского населения. Иная вера евреев еще более усиливала национальный антагонизм. Все это сделало их непримиримыми борцами против «царизма» — русской исторической государственности. Они выступали единым фронтом и в первых рядах революционного и оппозиционного движения. Еврейство сыграло роль «дрожжей» революции, из его среды вышли самые активные ее борцы, ее штаб.

10

В силу масштабов российского мира, необычайной сложности и обостренности разъедающих его национальных и социальных противоречий исторический процесс происходил у нас гораздо медленнее и труднее, чем на Западе.

Февраль 1917 был лишь вторым актом великой русской трагедии, продолжением революции 1905 года, завершением конституционного развития России.

Пришедшая в результате Февральского переворота к власти интеллигенция оказалась политически несостоятельной. Если историческая Россия просуществовала тысячу лет, династия Романовых царствовала триста, а Петербургский императорский период длился около двухсот, то русская интеллигенция смогла удержать власть всего девять месяцев, которые были временем непрерывных политических ошибок и государственного бессилия.

Такова цена, которую заплатила интеллигенция за свою оторванность от народной почвы, теоретическую отвлеченность.

Русские интеллигенты в массе своей всегда гордились тем, что были больше «всечеловеками», чем русскими (да они и в самом деле были), и вместо русских зипунов хотели видеть (а раз хотели, то и видели) на русских мужиках фригийские колпаки французских санкюлотов да пиджаки немецких рабочих...

Октябрьский переворот был логическим завершением переворота Февральского, разложившего армию приказом № 1, узаконившего в стране анархию (признание советов как органов власти наряду с правительством), всколыхнувшего огромный русский мир и обострившего все его внутренние противоречия перед лицом мощного внешнего врага.

Интеллигенция, устами своих публицистов, писателей, журналистов и политических деятелей от декабристов до Милюкова и Керенского, десятилетиями укоряла и обличала «старый режим» в политической отсталости, несостоятельности, реакционности и других смертных грехах. Десятилетиями говорила она носителям русской исторической государственности: уходите, вы не умеете управлять государством, только мы смо-

жем управлять им, превратить его из отсталого в современное, только мы знаем, что нужно народу.

Но этого «умения» и «знания», как сказано выше, хватило лишь на девять месяцев, полных чудовищных политических нелепиц, неумения и бессилия, вытекавших из незнания земли и народа...

11

Несмотря на то, что руководители Октябрьского переворота были интернационалистами по своей идеологии и зачастую нерусскими по происхождению, несмотря на то, что они смотрели на Россию и свои действия как на эксперимент для своих общесоциалистических планов, Октябрь (одной своей стороной) принял, по существу ему внутренним законам, национальный характер. Октябрьский переворот был бунтом против «бар», «Петербурга», против европеизированного дворянства и интеллигенции. И объективно вожди его, вопреки своим программам и личным стремлениям, завершили дело раскольников, Пугачева, противников Петровских преобразований. Октябрьский переворот был реакцией на европеизацию России, реваншем Московской Руси. Не случайно поэтому столица была снова перенесена в Москву, а красноармейцы получили форму стрельцов и шлемы старорусских витязей*.

Получился странный и страшный парадокс: лучшая часть интеллигенции и русского народа, сражаясь в рядах Белой армии, отдавала в своем представлении жизнь за Россию — «единую и неделимую». Объектив-

* Первые партии этих шлемов были заготовлены еще командованием российской армии. Как известно, Красная армия целиком экипировалась за счет имущества старой армии, перебив только одни эмблемы. — Р е д.

но же она сражалась за Россию Петровскую, Петербургскую, Россию высшего европейского слоя.

Другая часть русского народа, руководимая политическими авантюристами, сражалась в Красной армии против «белых» в своем представлении во имя «интернационала», но объективно боролась против «дела Петра», высшего слоя европеизированных русских, против засилия иностранцев, — за «Московскую Русь».

«Красные» состояли из двух идеологически противоречивых сил; определим их условно «большевиками» и «коммунистами».

«Большевики» представляли, собственно, старомосковскую, «национальную», «русскую» партию. «Большевиками», с этой точки зрения, больше, чем ленинцы, были левые эсеры, носители этого стихийного (условно!) начала. «Большевиками» отчасти были Блок, Брюсов, Есенин, Клюев, Клычков.

«Большевики» — это крестьяне, ненавидевшие помещика, «барина», интеллигента вообще, как «русские», ненавидевшие в «барах» — «чужих», «нерусских».

«Большевизм» — это крестьянская стихия, новая разинщина, новая пугачёвщина. Это — любовь к «Москве» и ненависть к «Петербургу». Из идеологии «большевизма» выросла и развилась современная система, как воскресшая и доведенная до крайности «тоталитарная» старомосковская государственность, старомосковский приказной строй.

Из этой идеи возник колхоз как воплощение доведенной до абсурда идеи русской общины в сочетании с крепостничеством. Вряд ли в какой-либо другой европейской стране могла возникнуть и воплотиться такая идея. У нас же колхоз стал реальностью, потому что опирался на две старорусские традиции.

«Коммунисты» — это интернационалисты. Люди, верящие в перманентную революцию. Это троцкисты, зиновьевцы, отчасти даже правые, — все те, кто в ходе

революции был отброшен и уничтожен. При такой классификации Сталин скорее был «большевиком», чем «коммунистом». Он снова закрыл «окно в Европу», усмотрев в Западе старого непримиримого врага.

Но «идея» Сталина не была чисто «большевистской»: в двадцатых годах, в какой-то мере, это был синтез с «коммунизмом». Только потом «большевистская» идея, хотя и в своей, «сталинской», интерпретации, возобладала над «коммунистической».

В ходе революции были уничтожены и «чистые, стихийные большевики» (политики, поэты и идеологи крестьянской Руси, «левые эсеры» и др.) и «чистые коммунисты» — интернационалисты, троцкисты и др.

Революция шла противоречивым, извилистым, трудным путем.

12

Революция создала новую интеллигенцию, новое чиновничество. Это были выходцы из низов — из крестьянской, рабочей, мещанской среды. Среди этих людей почти не было тех, чьи отцы до революции принадлежали к среднему интеллигентному слою, поэтому никакой преемственной связи с русским «высшим слоем» и с русской интеллигенцией у них не было.

В этом была сила, но и слабость новых людей.

Сила — в том, что они не были оторваны от своего народа и были свободны от идеализации его, свойственной (несмотря даже на материалистическое мировоззрение) старой русской интеллигенции и высшему культурному слою России.

Слабость же — в том, что эти люди оказались «освобожденными» от наследственной культуры и нравственности своих предшественников.

Многие из них, особенно в Гражданскую войну и двадцатые годы, искренне верили в «новый завет» жизни, в новую «коммунистическую» мораль и новые «ком-

мунистические» отношения между людьми. Казалось, всё это близко к осуществлению: старая государственность и связанные с нею собственнические отношения между людьми уничтожены, а, согласно марксистскому «священному писанию», с изменением экономических отношений должны измениться и духовные отношения. Достаточно только уничтожить основу всех зол — частную собственность и классовое разделение общества, как наступит на земле рай. Ведь всё несчастье только от экономического неравенства...

И если частная собственность в двадцатых годах не была еще уничтожена полностью, то находилась она уже под полным государственным контролем. В теории установилось рабоче-крестьянское государство, которое должно было выражать классовые интересы именно этих ранее столь угнетавшихся классов, однако рай тем не менее не наступал. Наоборот: власть в стране полностью и бесконтрольно оказалась не в руках «пролетариата» и «крестьянства», а у единственной в России политической партии, члены которой положили основу возникновению нового привилегированного класса. В самой партии важные посты заняли «аппаратчики» — привилегированная элита, не считавшаяся с мнением рядовых членов партии.

Хотя большинство «советской» молодежи верило в руководство, в политически мыслящей и нравственно чуткой ее части стало возникать недовольство результатами Октябрьской «революции».

«Революция» оборачивалась не «новым заветом» жизни, а возвращением к старомосковским формам государственности. «Революция» оказывалась на деле не революцией, а *реакцией* — в историческом и философском понимании этого слова. Причем реакция эта стала приобретать со временем совершенно особый, «сталинский» характер. Из арсенала старомосковских приказных форм государственности получили развитие самые отрицательные ее стороны: бесчеловечность, презрение

к личности, безудержный культ «вождя» (самодержавного властителя), слепая вера в непогрешимость начальства, идейная нетерпимость, ненависть к инакомыслящим, к «немцам» (то есть к иностранцам), религиозное отношение к марксизму-ленинизму, догматичность мышления, отрыв от Европы, мелочная регламентация жизни, чинопочитание и прочее.

Понятие служащий постепенно исчезало, заменяясь понятием раба государства: чиновника и рабочего прикрепили к учреждению и заводу (за самовольный уход с работы — суд); этот указ*, распространивший крепостное право на город, стал вершиной крепостнической политики. (Отмененный одно время новым указом от 25. 4. 1956 г., он через пять лет воскрес в другой форме: специального указа о «тунеядцах», изданного уже в хрущевскую эпоху и закрепившего это положение юридически**.

Что же касалось крестьян, то, как известно, колхозники теперь были обязаны работать на государство и еще крепче, чем служащие и рабочие, были прикреплены к колхозу: до сих пор у колхозников нет паспортов и они лишены права уходить из колхоза; это право получают лишь молодые колхозники, отслужившие в армии и не возвращающиеся в колхоз, а уезжающие непосредственно из нее в избранные ими самими места, да неработоспособные старики.

* См. указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» («Ведомости Верховного Совета СССР», 1940 г., № 20). — Р е д.

** См. указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» (наказание от 2 до 5 лет ссылки с конфискацией имущества). См. «Известия» от 6 мая 1961 г. — Р е д.

Советская Россия, созданная в октябре 1917 года в результате развития и углубления революции*, была «третьей», переходной Россией, потому что, с одной стороны, она уже не имела прямой духовной связи с Россией Петербургского периода, а с другой — не смогла создать своей собственной культурной традиции. Связь между нею и Петербургской была такой же, как между Петербургской и Московской.

Так же, как и Петербургская, Советская Россия создала в духовно-культурном плане новую породу людей, и люди эти уже ничего общего не имели ни с высшим европеизированным культурным слоем Петербургской России, ни с западными народами. К тому же пропасть эта сознательно увеличивалась и расширялась правительством и партией СССР.

С одной стороны, советская Россия восприняла заветы Московской Руси и поэтому люди ее в области духа и исторической преемственности гораздо больше общего имели со Старомосковской Русью, чем с Петербургской, поскольку, как говорилось выше, Октябрь был не революцией, а реакцией (как попытка Пугачева), пытавшейся вернуть Россию назад, к допетровским порядкам.

С другой стороны, советская Россия отталкивалась и от Московской Руси, пытаясь в какой-то мере «исправить» неудачу Петровских реформ, и поэтому оказалась не только продолжательницей Московской Руси, но и чем-то совсем новым, именно «третьей» Россией, создавшей собственный быт, мировоззрение, мировосприятие, мораль и т. д.

* Определение революции см. у И. Русланова в первой части его работы в «Гранях» 68, стр. 181. — Р е д.

Не удивительно, что революция носила крайне сложный и противоречивый характер. Она не была ни чисто «большевистской» (то есть национальной), ни чисто «коммунистической» (то есть интернационально-перманентной, по Троцкому и Парвусу). И сами люди, руками которых история совершала революцию, меньше всего понимали ее истинный смысл. Большинство из них было убеждено, что занято делом интернационала, мировой революции, что создает из России образец для грядущих — в самом недалеком будущем — западно-европейских обществ.

На облик «третьей» России наложил большой индивидуальный отпечаток Сталин тридцатых — самых тяжелых и решающих — годов, стоявший во главе ее. «Третья» Россия стала, говоря условно, Русью Ивана Грозного, на сей раз обладающей современной техникой и атомной бомбой. Недаром Сталин всегда чувствовал влечение к этому монарху, род некой духовной близости и исторической преемственности.

Сталин развивал и углублял присущее русским религиозное чувство, подменяя православие так называемым марксизмом-ленинизмом. Вся жизнь, нормы поведения, мышления и морали должны были подчиняться ему.

«Царь», как и «на Москве», вновь стал священным лицом, живым олицетворением государства. И на этот раз фигура «царя» соединялась с фигурой «патриарха», то есть высшего интерпретатора марксистско-ленинского «учения». Идея Московской Руси получила дальнейшее углубленное развитие и завершение.

Создание советской России вызвало разочарование и сопротивление (пассивное и активное) и у «большевиков», и у «коммунистов». Ведь создание «Руси совет-

ской»* было не только мучительно тяжелым, но и сопровождалось отходом от идей и идеалов как «большевистских», так и «коммунистических».

...Вы обещали нам сады
В краю улыбчиво-далеком...

.

На зов пошли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат...

.

За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли, —
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли...**

Так писал о результатах Октября крестьянский поэт-«большевик» Клюев...

Такое же разочарование вызвал он и у таких писателей и поэтов, как Клычков и Есенин, приветствовавших в свое время «Октябрьскую грозу» (определение Клюева) как выражение всенародного гнева, исторической мести «мужиков» — «барам». Отчасти связана с этим разочарованием и трагическая судьба Маяковского.

У «коммунистов» разочарование проявило себя в политическом аспекте — в организации троцкистской оппозиции.

* «Русь советская» — термин, заимствованный автором статьи у Сергея Есенина. См. сборник его стихов «Русь советская», 1925 г. — Р е д.

** Николай К л ю е в. Сочинения. Под общей редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 1, стр. 241. Neimanis. Buchbetrieb und Verlag. 1969. — Р е д.

Но самым ярким и открытым проявлением этого разочарования в среде революционной массы, то есть той части народа, которая не только поддерживала Октябрьский переворот, но и активно участвовала в нем и в Гражданской войне, было Кронштадтское восстание*.

Напрасно советские фальсификаторы истории пытаются изобразить его «кулацким бунтом», мятежом, спровоцированным эсерами, меньшевиками и белогвардейцами, а самих участников восстания представить состоявшими сплошь из деревенских парней, только что призванных на флот, политически неустойчивых и отражающих-де настроения кулачества. Факты решительно опровергают эту ложь. Достаточно сказать, что в Кронштадтском восстании *активно участвовало 30%* всей партийной организации РКП(б), 40% объявили себя нейтральными и только 30% выступило против восстания.

Руководители восстания и члены ревкома принадлежали к числу старых кадровых моряков: в архивах сохранились списки тысяч расстрелянных при подавлении Кронштадтского восстания матросов, большая часть которых относилась к призыву 1914 и более ранних годов.

Кронштадтские газеты того времени сплошь заполнены открытыми заявлениями о выходе из партии. Кем же в действительности были эти люди? Кулацкими сыновьями, только вчера пришедшими на корабли? Нет, сами авторы этих открытых заявлений свидетельствуют о себе именно как об активных участниках Октября и боев Гражданской войны.

Весьма активное участие в восстании принимала, конечно, молодежь, — вновь пришедшее пополнение,

* См. «Кронштадтское восстание в документах» в «Гранях» № 29, 1956 г. — Р е д.

но это обстоятельство только показывает, насколько широка была социальная база восставших.

Во многом лозунги и сама форма восстания — стихийного всенародного гнева против правящей верхушки, захватившего в своем порыве и членов самой правящей партии, — напоминает другое всенародное восстание — Будапештское, происшедшее двадцать пять лет спустя в результате такого же глубокого внутреннего кризиса всей созданной коммунистами государственно-экономической системы.

Следует отметить, что Кронштадтское восстание не было в тот период единственным. Вся страна была охвачена крестьянскими восстаниями. В дни Кронштадтского восстания происходили забастовки на заводах и фабриках Петрограда, Москвы, Харькова и других крупных городов; на беспартийных рабочих собраниях коммунистам часто не давали возможности говорить, зато охотно слушали эсеров и меньшевиков.

Бывали случаи, когда воинские части Красной армии целиком переходили на сторону восставших крестьян. Тысячи и тысячи людей уходили в леса — в партизаны, создавая отряды народных борцов*.

* В подтверждение положения И. Русланова о переходе отдельных воинских частей Красной армии на сторону восставших крестьян редакция может привести конкретные случаи из рукописи Л. О. Бека «Крестьянское повстанческое движение и военные бунты 1918-1924 гг.», предоставленной автором «Граням».

Так, например, Л. О. Бек пишет: «Весною 1921 года, кроме мелких повстанческих отрядов в районах Юзовки и Верхнего Дона, образуется крупное повстанческое движение. Во главе его становится командир 1-ой бригады 14-ой дивизии Буденновской армии — Маслаков. Будучи Красным командованием послан против Махно, Маслаков, во главе своей части, численностью приблизительно в 1 000 человек, переходит на сторону Махно. ...В Константиновском районе и близ хутора Попова отряд Мас-

Самую партию разъедали внутренние противоречия, борьба групп, течений, кланов. Авторитет Ленина стал падать.

В этой обстановке нарастающего внутреннего кризиса партийное руководство, с одной стороны, еще больше усиляло террор, проводя без всякого суда массовые расстрелы повстанцев, с другой — вынужденно шло на уступки народу: так был объявлен, например, нэп.

Летом 1921 года в партии прошла массовая «чистка», целью которой было удаление из ее рядов всех наиболее активных и недовольных властью элементов, главным образом «чистых большевиков», этих потенциальных «кронштадтцев». О размерах ее можно судить по следующим цифрам: из 730 000 общего числа членов партии было «вычищено» свыше 200 000, то есть приблизительно третья часть.

И тем не менее, несмотря на то, что большинство народа было настроено против партии и ее диктатуры, возникла «третья» Россия.

Однако эта Россия в своей сущности не была новой и в момент своего возникновения несла в самой себе собственную гибель. «Третья» Россия — это лишь переход, мост к России подлинно новой.

лакова воюет с частями Красной армии. ...Той же весной 1921 г. на станции Михайловка, выше Усть-Медведицкой станицы (ныне г. Серафимович), взбунтовались части Красной армии во главе с Вакулиным. Будучи разбиты Царицынскими курсантами, восставшие мелкими отрядами направлялись в Тамбовскую губ. и присоединялись к Антоновскому восстанию. По данным Ю. Сречинского, к январю-февралю 1921 г. у Антонова было уже две армии, состоявшие из 21 полка и одной бригады общей численностью в 40-50 тысяч человек. 'Некоторые части Красной армии, — как указывает Ю. Сречинский, — перешли на сторону Антонова, у него даже был отряд из матросов'».

Если Петровские преобразования были тезисом, то «старомосковская» реакция, возникшая в результате Февральского и Октябрьского переворотов в 1917 г., оказалась антитезисом, ждущим своего синтеза. Только преодоление беспочвенности Петербургской, «европейской» России и всего наносного времен Московской «византийско-азиатской» Руси сделает возможным синтез: создание новой почвенной России с синтезной русской культурой, которая объединит в себе Московское и Петербургское наследие и обогатится культурами народов-«спутников».

Первенство культуры переходило с запада Европы на восток: сказала свое слово Испания, потом Англия, Франция, сказала Германия. Теперь очередь за славянами. Но, прежде всего, нам следует осознать и выразить самих себя через духовно-культурный синтез. Этот синтез и будет тем новым русским словом российской культуры, тем «всечеловеческим» словом, о котором мечтал Достоевский, прозревая, что России предназначено «силой братства» «воссоединить» Европу и «изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»*

Через российский духовно-культурный синтез — к общеевропейскому духовно-культурному синтезу: вот наш лозунг.

Когда-то Мицкевич назвал поляков пилигримами. Теперь же, потеряв родину физически, в эмиграции, или духовно, под гнетом советской власти, русские тоже стали пилигримами — носителями Русской Идеи и работниками ее.

* См. Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в десяти томах. Госиздат Художественной литературы. Москва, 1956-58 гг. Том X, стр. 442. Пушкин. Очерк.

Двадцатые годы — годы образования и становления «третьей», переходной, «антитезисной» России. В этот период формировался правящий класс, «советский» народ без веры в Бога, но с верой в марксизм-ленинизм и в свое особое социалистическое «предназначение», и «советское» общество.

Молодежь этого общества, в массе своей, противопоставляла себя «старикам», «бывшим», то есть представителям дореволюционной России.

«Советское» общество, с момента его возникновения, как мы говорили выше, несло в себе внутренний разлад и борьбу, так как в основании его лежали две духовно противоположные тенденции: крестьянско-«большевистская» и интернационально-«коммунистическая». Представители обеих тенденций, обе группировки — «большевики» и «коммунисты» — объединялись в одном: в отношении к Петербургской государственности, боялись и ненавидели ее больше, чем советскую.

Но в тюрьмах и лагерях двадцатых годов среди политических заключенных преобладающее большинство составляли русские интеллигенты старой формации, меньшевики, эсеры и так называемые белогвардейцы — то есть люди, оставшиеся верными царской православной России. Представителей «советского» общества было очень мало, главным образом это были «кронштадтцы» (употребляя этот термин условно и в широком значении и обозначая им людей, принадлежащих к группировке крестьянского «чистого большевизма»).

В это первое десятилетие советской России именно «большевики» представляли наибольшую опасность для правящего класса, и против них был направлен главный удар. В начале тридцатых годов советская власть окончательно разделалась с потенциальной базой «большевистского» сопротивления — российским крестьянством: по всей стране была проведена коллективизация

— новое закрепощение крестьян колхозной системой. И в партии было подавлено «большевистское» крыло — «правые».

С точки зрения исторической, это было вполне закономерным явлением. Советская государственность не выражала и не могла выражать интересы «чистых большевиков». Их идеология и идеалы — это идеология и идеалы крестьянской России, это «Боже, Свободу храни — Красного Государя Коммуны» и «Ставьте ж свечи мужицкому Спасу!» (Клюев*). «Чистый большевизм» это, как говорилось выше, новая разинщина, разгул, стихия, бунт во имя бунта, во имя вольницы вечной...

В «положительном» смысле — это отрицание города: городской культуры и машинной цивилизации. Это — возвращение к свободному казацко-крестьянскому кругу, старая русско-казацко-крестьянская мечта... Мечта Разина и Пугачева. Осуществление ее означало бы гибель не только советской государственности, но и российского государства вообще, ибо привело бы к распаду всего русского мира, российского объединения народов. Осуществление такой мечты означало бы конец России...

Со второй половины тридцатых годов началось уничтожение и другой противостоящей советскому правящему классу силы — «чистых коммунистов», иначе говоря, коммунистов-интернационалистов.

Вожди Октября из их числа, ведущие свою «родословную» от «нигилистов» и «революционных демократов» середины XIX века, вообще отрицали Россию, рассматривая ее лишь как орудие интернационала и «перманентной революции», и мечтали о дальнейшей, еще более глубокой ее европеизации, жаждали сделать ее еще более европейской, чем сама Европа, чтобы, по последним европейским рецептам, сразу перескочить в

* См. сноску на стр. 201. Том I, стр. 472 — «Коммуна» и стр. 466 — «Красная песня». — Р е д.

социализм. И если бы в советском правящем классе возобладало «чисто коммунистическое» начало, то и это, как в случае «чистого большевизма», означало бы конец России...

Сталинское руководство, ради сохранения своей власти, вынуждено было взять на идеологическое вооружение русский патриотизм и поставить своей практической политической задачей создание мощного великодержавного русского государства.

И советская Россия, созданная Сталиным, стала великодержавным государством, поднявшим свою военную мощь на небывалую высоту и закончившим объединение России в ее исторических и естественных границах. Но всё это было достигнуто страшной ценой — небывалым в истории закрепощением и угнетением народа, неслыханным уродованием человеческих душ.

Итак, повторим: тезис — Петровские преобразования, европеизация России, создание мощного русского государства с выходом к морю, создание русско-европейской Петербургской культуры, высшего общественного слоя, и всё это за счет усиления закрепощения народа, создания оторванного от народа и противостоящего ему слоя дворянства и интеллигенции, за счет калечения русской души, оторванной от родной почвы и насильно и сразу брошенной в океан европейской культуры.

Именно европеизация породила знаменитую «загадочность» русской души, столь непонятную иностранцам. У русского Петербургского периода — две родины: Россия и Европа. И разгадка «загадочности» русской души в ее двойственности, в вечном внутреннем противоречии между родным, естественным и приобретенным... И двойственность эта не осталась присущей только верхнему слою, — через него она проникла и в толщу русского народа, хотя и в менее яркой, заметной форме.

Антитезис: события февраля-октября 1917 г. — бунт против насильно навязанной европеизации, рожденный тем, что Россия еще не успела «подготовиться» к восприятию европейской культуры, еще не выработала свои национальные формы культуры. Одновременно — создание нового, еще более мощного, чем Петровская Россия, государства путем еще большего закрепощения и угнетения народа, но государства, — таков исторический парадокс, — обращенного не к Марксу и Европе, а к Ивану Грозному и Москве. Народная стихия, даже под советским владычеством, продолжала оставаться в своих глубинах всё той же вечной, русской, почвенной. Закрепощенный и изуродованный русский народ оказался все-таки сильнее своих вождей...

Грядущий *синтез* должен, сохранив российскую государственную мощь, создать новые духовно-культурные ценности, новую русскую культуру — русскую и всечеловеческую...

17

В тридцатых годах формирование советского общества было в основном закончено. Главными отличительными чертами его были: безграничный культ «вождя», слепая вера в его абсолютную непогрешимость, в партию, в марксизм-ленинизм, в преимущества советского социального строя, нетерпимость к инакомыслящим, принявшая религиозные формы, и глубокая некультурность всего общества сверху донизу...

И тем не менее, несмотря на религиозный культ Сталина и ленинско-сталинского «учения», несмотря на *удивительную* политическую слепоту немецкого нацистского руководства и безобразия, творившиеся нацистами на оккупированных территориях России, война 1941-45 годов не была ни всенародной, ни «отечественной» войной, как стараются представить ее советские фальсификаторы. Никогда еще за всю историю России не было случая, чтобы на стороне ее врагов сра-

жалось более миллиона российских граждан. Поистине надо было быть доведенным до последнего отчаяния, чтобы сознательно сделать выбор между врагом внутренним и внешним в пользу врага внешнего...

Подавляющее большинство власовцев сражалось на стороне нацистской Германии не за немцев, а за Россию.

Подавляющее большинство их вместе с Власовым знало, что, в случае победы над сталинскими поработителями Родины, предстоит новая борьба с поработителями гитлеровскими.

Гитлеровская Германия была для этих истинных русских патриотов только *вынужденным* и временным союзником. Таким же союзником как, например, японцы для борцов Индонезийской национальной армии, которых индонезийский народ после войны величал как своих героев...

С немцами против советской власти, а затем с русским народом против немцев, — вот что думали сотни тысяч русских солдат и офицеров, стремившихся попасть в ряды Русской Освободительной Армии (РОА). Это был скрытый лозунг всего Власовского движения.

Нацизм как идеология был органически чужд русскому самосознанию, поэтому на оккупированных территориях и в рядах Власовского движения нацистская идеология не получала никакого распространения.

Русскому человеку органически чужда идея культа государства как *высшей реальности*. Старое русское государство было в сознании русских людей, прежде всего, православным христианским государством, оплотом высшей идеи и носителем ее. Эта высшая идея была идеей добра и справедливости, то есть моральных ценностей, которые выше ценностей материальных (государства). Даже советское государство в глазах его приверженцев тоже по-своему было носителем высшей идеи — интернациональной, коммунистической. Кulta государства как такового, основанного на древних на-

циональных традициях императорского Рима, у нас никогда не было.

Так же чуждо русскому человеку и нетерпимое отношение к другим национальностям. Наше государство складывалось и развивалось как государство многонациональное. В его состав всегда входили представители самых различных народностей, наследники различных культур.

И, наконец, религиозность русского сознания препятствовала успеху нацистской пропаганды. Нацизм — последнее слово антирелигиозного «научного» мировоззрения, доведенного до своего предела. Если нет Христа, нет и нравственности, если нет нравственности, остается одна «наука», а по науке — всё можно; можно из человеческой кожи делать абажуры, если ценность человека не абсолютна, а относительна и определяется его пользой, которую он может принести обществу; люди, представители низших рас, естественно, имеют более низкую ценность или вообще никакой, — такова приблизительно и *упрощенно* выраженная мысль нацизма. И эта мысль непонятна и чужда русскому человеку.

18

Мы отнюдь не хотим этим сказать, что сталинская Россия была более гуманна, чем гитлеровская Германия, скорее наоборот. Если зверства гитлеровцев были направлены против врагов их системы и тех народов, которых они считали «низшими», то зверства сталинцев вообще не имели никакого логического оправдания.

В лагерях, начиная с середины тридцатых годов и до смерти Сталина, в подавляющем большинстве содержались не враги, а жертвы режима; даже более того: до 80% заключенных советских лагерей не были противниками советской системы.

Жертвы сталинских чисток делились на две категории:

1. Потенциальные враги: «чистые коммунисты-интернационалисты» и «чистые большевики»; работники партийного аппарата и органов государственного террора, состав которых постоянно обновлялся, — те люди, которые слишком много знали и от которых следовало время от времени избавляться.

2. Люди, взятые «по набору»: каждая республика и область имела свою разнарядку, — то есть обязана была «поставить» определенное число людей, необходимых в качестве бесплатной рабочей силы для строек «пятилеток» — в Сибири, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере. Эта категория людей не таила в себе даже потенциальной опасности — просто советской власти нужны были рабы.

Сталинское государство не ограничивалось реставрацией крепостного права, оно пошло дальше: стало *рабовладельческим* государством.

В противоположность немецкому нацистскому государству и его идеологам, открыто признававшим и защищавшим «право сильного» и «право высшей расы», идеологи сталинского государства никогда не признавали его рабовладельческого характера и сущности; напротив, в теории ими проповедовался «гуманизм», «интернационализм», «свобода» и прочие добродетели, на практике же всё население было закрепощено, а двадцать миллионов из общего числа превращено в рабов в полном смысле этого слова.

Может быть, именно благодаря своему насквозь лицемерному характеру сталинское государство и пользовалось активной и пассивной поддержкой большинства народа. Не исключена возможность, что если бы сталинское государство не скрывало так тщательно своей человеконенавистнической сущности, не провозглашало бы на всех перекрестках свои ханжеские «идеалы», оно не в состоянии было бы так долго просуществовать.

На могущее возникнуть возражение, что сталинское государство не пользовалось поддержкой большин-

ства народа и поэтому-де и вынуждено было прибегать к массовому террору, можно ответить, что *всякая* политическая система в состоянии существовать только лишь при активной поддержке меньшинства и пассивном согласии большинства.

19

Сороковые годы и начало пятидесятых — время, когда культ Сталина достиг своей кульминации. Годы войны (1941-45) и победа укрепили советский коммунизм. Патриотический и национальный подъем военных лет дал ему иное направление: коммунизм стал превращаться в национал-коммунизм. Послевоенные годы, с последовавшей вскоре волной антисемитизма, разжигавшегося партийным руководством, только усиливали и ускоряли этот процесс.

Всё советское, коммунистическое стало отождествляться с русским и в качестве такового противопоставляться иностранному, западному.

Впервые за долгие годы люди с гордостью стали снова называть себя русскими. Ведущая роль России была отмечена и зафиксирована в новом государственном гимне: «Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь...»

Подкрепленная патриотизмом, национализмом и ореолом победы над Гитлером коммунистическая идея вновь увлекла массы, и политическое положение власти внутри страны после войны укрепилось как никогда.

Сталин стал отождествляться с родиной. Воскресла старая формула: «за веру, царя и отечество», которая теперь звучала так: «За Сталина, за родину, за коммунизм».

Сам Сталин всё больше и больше превращался в божество — всевидящее, всезнающее и ...никому не видимое.

Молодежь, как наиболее чуткая часть народа, была захвачена новым национал-коммунистическим уга-ром*. Имя Сталина стало для нее знаменем.

В эти же годы окончательно сложился и окреп правящий класс, пользовавшийся, кстати сказать, гораздо большими реальными привилегиями, чем дореволюционное дворянство.

Но этот расцвет советского общества оказался тем кульминационным пунктом, с которого начинается упадок.

Несмотря на почти непрерывные успехи сталинской власти — небывалое территориальное расширение советской империи, полный контроль над Восточной Европой, приблизившаяся одно время к реальности мечта о Дарданеллах, упрочившееся положение в Азии и т. д., — она вдруг стала терпеть поражения.

Первым из них был провал попытки коммунистов захватить власть в Греции. Греция осталась форпостом свободного мира на Балканах.

Вторым, более значительным поражением, свидетельствовавшим к тому же о возникновении кризиса в коммунистическом мире, был откол Югославии от мировой коммунистической системы. Он стал реальным примером, соблазном и потенциальной возможностью для других коммунистических стран. Всемогущий Сталин не смог справиться с маленькой Югославией: все его попытки свергнуть режим Тито окончились также полным провалом.

Кроме поражений во внешнем мире, начались трудности внутреннего порядка: впервые за много лет советские граждане, вопреки политике изоляции советского правительства, получили возможность знакомиться с бытом и нравами Европы.

* См. в этом же номере свидетельство В. Осипова, представителя молодежи тех лет, в его очерке «Площадь Маяковского, статья 70-ая», стр. 110. — Р е д.

Солдаты и офицеры советских оккупационных войск, стоявших за границей, несмотря на национал-коммунистический угар, охвативший после войны большинство населения, сравнивали западную жизнь с советской отнюдь не в пользу последней.

В результате участились случаи бегства советских военнослужащих на Запад: среди воинских частей, стоявших в Восточной Германии, трудно было найти такую, в которой не насчитывалось бы беглецов.

Внутри самого советского общества нарастало недовольство правящего класса: он желал обезопасить себя гарантиями, наслаждаться всеми благами жизни и пользоваться всё большими привилегиями. Безграничная власть одного диктатора тяготила его всё сильнее. Пока существовала сталинская диктатура, правящий класс не мог быть спокойным за свою судьбу: «чистки» продолжались и после войны; «исчез» Вознесенский; произошел разгром партийной организации Ленинграда; была проведена чистка в армии; назревали новые политические показательные процессы, по образцу тридцатых годов, которые в качестве примера и напоминания проводились в странах-сателлитах.

Кризис в стране нарастал. Его послесталинскими плодами были зародившийся, по-видимому, именно в те годы «ревизионизм», хрущевская разновидность которого спустя несколько лет победила в СССР, и «либеральный» коммунизм, оказавший впоследствии на движение пятидесятых-шестидесятых годов такое ощутимое влияние и приведший к краткосрочной чехословацкой «весне».

(Окончание следует)

Библиография

ОШИБОЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВАС. ГРОССМАНА

«Все течет...» При чтении этого замечательного повествования хотелось бы только поражаться глубине и точности зарисовок. И не только картинам концлагерной жизни или описаниям вымиравшего в годы голода крестьянства. Автор с необычайной прозорливостью указал на Ленина как на источник зла, на создателя тоталитарного строя.

На этом безоговорочном признании достоинств книги хотелось бы поставить точку. Но в книге содержится и другое. В советских условиях многие источники познания нашего исторического прошлого были, разумеется, для Гроссмана недоступны. Он читал, что мог, думал о причинах обрушившейся на Россию небывалой катастрофы — в трагическом одиночестве. Всё это вырвалось на страницы его книги бурным и порою противоречивым потоком. Ничего этому удивляться. Такая же судьба постигла некоторые писания Андрея Амальрика и многих других: спорные исторические предпосылки, еще более спорные исторические выводы...

Стоит ли на этот счет вступать в полемику? Ведь ныне покойного Василия Гроссмана не переубедишь? И всё-таки обо всём этом надо говорить. Ведь, быть может, некоторые уточнения и доводы дойдут до тех, которые теперь в России задумываются над прошлым, настоящим и будущим нашей страны.

Гроссман пишет, например, что Россия — «великая раба», с тысячелетней рабской психологией и душой. Такие мысли были свойственны и некоторым нашим интеллигентам прошлого века, великому нытику Некрасову, допускавшему, что наш народ «создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил». Но такие мысли теперь гораздо более чреватые опасными выводами, чем в далекие, патриархальные некрасовские вре-

Вас. Гроссман. Все течет... Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970.

мена. Если Россия — вечная раба и ни к чему иному, чем к рабскому состоянию, не приспособлена, то, быть может, и никакой иной строй, чем тоталитарный, в нашей стране невозможен? Тогда вообще есть ли смысл против нынешнего строя бороться?

Эти сомнения еще более усиливаются у рядового читателя, когда автор описывает в поэтической форме (но не изжив в себе влияния советских мифов) условия, в которых Ленин пришел к власти в 1917 году:

«Подобно женихам прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни революционных учений, верований, лидеров партий, пророчеств, программ... Жадно, со страстью и с мольбой вглядывались вожди русского прогресса в лицо невесты.

Великая раба остановила свой ищущий, сомневающийся, оценивающий взгляд на Ленине. Он стал избранником ее» (стр. 176).

Если спуститься с поэтических высот к сухим историческим данным, то сказать можно многое: хотя бы то, что предполагаемая «великая раба», при выборах в Учредительное собрание осенью 1917 года, остановила свой взгляд совсем не на большевиках Ленина, а на правых эсерах, получивших значительное большинство голосов; хотя бы то, что крестьянство (которое автором главным образом подразумевается) в своем огромном большинстве совсем не пошло за Лениным в течение всех лет гражданской войны и военного коммунизма по крайней мере.

Но это так, мимоходом. Остановимся на главном вопросе, на пресловутом «тысячелетнем русском рабстве».

Есть народы, действительно прошедшие многовековую «школу» рабства, например, эстонцы, латыши, поработанные тевтонскими рыцарями и католическими епископами. В течение столетий не оставалось, за исключением нескольких семей свободных крестьян в Курляндии (так называемых «куршских королей»), свободных латышей и эстонцев. Кому удавалось вырваться в город, примкнуть к низшим ремесленным корпорациям и стать свободным, платил за это потерей связи со своим

народом, германизировался. Кто к моменту освобождения крестьян в «Остзейских» губерниях оставался латышом или эстонцем, были поистине «вековые рабы». Но ни латышей, ни эстонцев никто из досужих вульгаризаторов никогда не приводил в пример народов, якобы обладающих «рабской психологией». В 1918 году оба народа оказались, к тому же, в состоянии образовать свои правовые демократические республики. Они могут поэтому служить доказательством того, что многовековое рабство, через которое пришлось пройти тому или иному народу, вовсе не создает «народов-рабов». Может быть, наоборот: учит любить свободу.

Но если эстонцы и латыши все без исключения — потомки крепостных рабов, то среди современных русских лишь известная часть происходит от бывших крепостных. Не только высшие и средние слои (дворянство, духовенство, мещанство), но и значительная часть крестьянского населения (Север, Сибирь, казачество) крепостными не были и «рабской психологии» ни от кого унаследовать не могли.

Самый институт рабства в Россию был занесен из Римской империи (Византии), но, по свидетельству В. О. Ключевского («Содействие Церкви успехам русского гражданского права и порядка» в сборнике «Церковь и Россия», Париж, 1969): «древнерусское холопство, первоначально так же однообразное и безусловное (как в других рабовладельческих обществах тогдашней Европы — А. С.), постепенно разложилось на многообразные виды ограниченной неволи, и каждый дальнейший вид был юридическим смягчением предыдущего». Ключевский называл это особенностью древнерусского рабовладельческого права, какой «не было заметно в других рабовладельческих обществах Европы».

«Рождение русской государственности, — пишет Гроссман, — было ознаменовано окончательным закрепощением крестьян: упразднен был последний день мужицкой свободы — двадцать шестое ноября — Юрьев день» (стр. 178).

Поскольку речь идет о «рождении русской государственности», выходит так, что «Юрьев день» был упразднен в 862 году с воцарением нашей первой варяжской династии, а не

Борисом Годуновым в самом конце XVI века, как это имело место на самом деле. Ведь нельзя же утверждать, что в течение более семисот лет — от Рюрика до Бориса Годунова — вместо русской государственности было лишь розовое облачко? Строилась Русь более семи веков вольным крестьянством совместно с другими сословиями. Это не входит в схему Гроссмана. Но русский народ, с так называемой рабской душой, нашел в себе, например, духовную силу преодолеть и изжить татарское иго, расширить пределы нашего государства далеко за Урал, создать великолепное наше искусство XV и XVI веков.

После отмены «Юрьева дня» стали ли простые русские люди безмолвными, безвольными, покорными рабами? Здесь нам приходится придти на помощь историческим познаниям автора. На Земском соборе 1613 года, выведшем страну из разрухи после Смутного времени и утвердившем на престоле новую династию Романовых, были делегаты от крестьянства, как и от других сословий. Вообще-то Земские соборы, сыгравшие такую большую роль в русской истории XVII века, не походили (как это, быть может, представляется автору) на Верховный совет СССР, — творческая жизнь в них была ключом.

Два года тому назад в Ленинграде опубликовано исследование Н. Е. Носова «Становление сословно-представительных учреждений в России»^{*)}. Во введении автор пишет:

«Эпоха Ивана Грозного стоит на перепутье. XV-XVI века, открывающие новый период в жизни Западной Европы ... переломный этап и в истории России. Именно тогда решался вопрос, по какому пути пойдет Россия: по пути подновления феодализма «изданием» крепостничества или по пути буржуазного развития, пути для того времени более прогрессивному, а главное менее пагубному для крестьянства. Конечно, Россия в XV-XVI вв. отнюдь не была передовой европейской страной (двухсотлетнее татарское иго сделало свое дело), но все же в ней как раз в этот период, вплоть до середины XVI в., наблю-

^{*)} Н. Е. Носов. «Становление сословно-представительных учреждений в России», Академия наук СССР, Ленинградское отделение, издательство «Наука». Ленинград, 1969, 601 стр.

дается в целом такой интенсивный экономический подъем, который ... мог бы явиться началом весьма серьезных сдвигов во всех сферах ее жизни, сдвигов буржуазного, вернее предбуржуазного, свойства... И если в России в результате «ивановой опричнины» и «великой крестьянской порухи» конца XVI в. все-таки победило крепостничество... и самодержавие, ... то это отнюдь не доказательство их прогрессивности в условиях русской действительности XVI в. и уже тем более не результат «консервативности русского духа». ... Но зато это та основная «объективная» причина, которая всегда придавала всем сословно-представительным учреждениям России — а без них даже Иван Грозный не мог обойтись — половинчатый и незавершенный характер, характер придатка самодержавия, а не силы, ему противостоящей».

Так мыслит историк. Гроссман же принадлежит к поколению, которому факты русской истории были известны только в той мере, в какой они были отражены в злобных, полемических и ни в коей мере не научных статьях-пасквилях К. Маркса и прочих «основоположников». И безусловно художественная интуиция Гроссмана не всегда может заполнить этот зияющий пробел.

В XVII веке и в первой половине XVIII века государственное тягло, возложенное на крестьян, было тяжелым, но не менее тяжелая повинность лежала и на других сословиях, в частности — на дворянах, ввиду трудностей, связанных с той переломной эпохой: пожизненная воинская повинность для дворян в принципе оправдывала обязательство для крестьян этих дворян кормить, на них работать. Социальная справедливость у нас соблюдалась более чем во многих западных странах того времени. Петр Великий усилил военное бремя, ложившееся на дворян. В петровское время и в последовавшие за ним царствования почти все рядовые солдаты гвардейских полков были дворянскими сыновьями, первыми бросались в бой. Так, простым солдатом начал свою воинскую жизнь и великий Суворов.

Рабство пришло вновь. Рабство пришлое, чужеродное, наносное. Гольштинский принц, вступивший на престол под именем Петра III, издал 18 февраля 1762 года указ об освобожде-

нии дворян — пресловутый «Указ о вольностях дворянских». Дворяне стали свободными, крестьяне остались крепостными. Принцип равномерного распределения повинности, социальная справедливость были нарушены. То, что Гроссман считает своим, свойственным русскому укладу, русской психологии, русской истории, было на самом деле чужим, немецко-голыштинской фабрикацией. В этом заключался его страшный вред, а также в том, что оно нагрянуло не где-то на заре средневековья, а в просвященный XVIII век. Народ ответил на это пугачевщиной.

Новое рабство продлилось ровно сто лет, до 19 февраля 1861 года — дня освобождения крестьян. Но и этот, сравнительно краткий, столетний период, прошедший со времени освобождения дворян до освобождения крестьян, оказался болезненно-длительным. Социальная несправедливость породила людей с искаленной психологией. Гроссман подметил это совершенно верно. Он пишет:

«Сектантская целеустремленность, готовность подавлять живую сегодняшнюю свободу ради свободы измышленной, нарушать житейские принципы морали ради принципов грядущего — давали о себе знать и проявлялись в характере Пестеля, и в характере Бакунина, и Нечаева, и в некоторых высказываниях и поступках народовольцев.

Нет, не только любовь, не одно лишь сострадание вели подобных людей путем революции. Истоки этих характеров лежат далеко, далеко в тысячелетних недрах России» (стр. 166-167).

Забыв на минуту свою теорию о тысячелетнем русском рабстве, автор указывает в вышеприведенных строках на то, что даже в суровые александровские и николаевские времена начала XIX столетия у нас в стране теплилась «живая сегодняшняя свобода», которую фанатики готовы были подавить. Да, так оно и было. Нельзя отрицать и то, что психологически и умственно эти люди были предтечами Ленина. Но с выводами автора об «истоках этих характеров» согласиться трудно. Запоздалое столетнее рабство нашего крестьянства, чуждые нашему историческому пути западные влияния — вот что породило эти характеры. «Тысячелетние недра России» тут ни при чем.

Конец XIX и начало XX русского века никак не укладываются в схемы Гроссмана. Как он ни уговаривает русскую историю идти по указанной им дорожке, а она всё же упорно предъявляет свои права.

Как ему ни любо «тысячелетнее рабство», но освобождение крестьян он обойти молчанием не может.

«Деятнадцатый век — особый в жизни России, — пишет он.

В этот век заколебался основной принцип русской жизни — связь прогресса с крепостничеством.

Революционные мыслители России не оценили значения совершившегося в девятнадцатом веке освобождения крестьян. Это событие, как показало последующее столетие, было более революционным, чем событие Великой Октябрьской революции» (стр. 179).

Правильно: крупнейшее событие нашей истории, восстановление нарушенной в конце XVIII века социальной справедливости, выход России на более широкую государственную дорогу. Событие-то само Гроссман отметил, но что за этим последовало, — ускользнуло из его поля зрения, или просто ему незнакомо. В книге нет и намека на думский период нашей истории, на развитие земств, на бурный рост культурной жизни нашей страны. Опять тот же лейтмотив о вековом рабстве. Просто складывается впечатление, что чуть ли не в конце царствования Александра Второго в России было восстановлено крепостное право и Великие реформы были упразднены одним росчерком пера.

Ну, если так расценивать события, то и картина получается соответствующая: после Великих реформ русские люди опять стали безмолвными рабами, потом было краткое интермеццо керенщины, а потом Ленин, — хранитель вековой традиции, — свернул опять Россию на привычный рабский путь.

Здорово гладко всё это получается! Беда только в том, что на самом деле всё обстояло совсем не так. В начале столетия, до революции, русские люди пользовались свободой гораздо больше, чем в наши дни граждане ряда европейских и заокеанских стран. Ленин задушил не свободу времен керенщины —

«восьмимесячного младенца, рожденного в стране тысячелетнего рабства», а русскую свободу без всяких прилагательных. Этого Гроссман не видит, не знает. Рассуждение, которым кончается книга, соответствует этому неведению.

«Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души, — пишет он.

И в восхищении византийской аскетической чистотой, христианской кротостью русской души живет невольное признание незыблемости русского рабства. Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической чистоты те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры, — они в тысячелетней крепостной несвободе» (стр. 182).

Вот как! Так почему, в таком случае, тоталитарный строй так легко и мощно установился в ряде стран, обладающих богатой самобытной культурой: в гитлеровской Германии, ничего общего не имеющей с русской «тысячелетней крепостной несвободой», в коммунистическом Китае, не имеющем представления о «византийской аскетической чистоте»?

На самом деле Ленин был просто тотальным воплощением зла, чуждым русскому национальному гению, в глубине души ненавидевшим Россию. Если, вместо длинных и порою противоречивых исторических экскурсов автор это определил бы в нескольких фразах, то его вклад в дело разоблачения Ленина был бы полноценным.

А так получается довольно сбивчивая картина, дезориентирующая малосведущих, огорчающая ревнителей нашей национальной истории, могущая быть взятой на вооружение иностранными недоброжелателями нашей страны, которые любят приписывать возникновение и длительность тоталитарного властвования в России специфическим чертам «русской души».

Аркадий Столыпин

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ. ВОСПОМИНАНИЯ

Без преувеличения можно утверждать, что после книг Солженицына, которым в современной литературе нет равных, «Воспоминания» Надежды Яковлевны Мандельштам — самое значительное из всего, что до нас дошло через Самиздат из СССР за последние годы. Но тогда как свидетельство Солженицына облечено в форму художественного творчества, Н. Мандельштам выступает прямо от своего имени, что, конечно, суживает ее возможности, но зато придает ее словам вескость судебного показания, за каждую подробность, за каждый факт которого автор отвечает всем своим существом.

А факты эти, преподнесенные порою с редким лаконизмом, потрясают своею кажущейся незаметностью: «...Сиделки жадно поедали остатки с тарелок сыпнотифозных и дизентерийных больных».

К тому же четкость и своеобразие лишенного всяких украшений стиля, безукоризненная чистота языка, яркость и меткость характеристик огромного числа встреченных автором на своем жизненном пути людей, знаменитых и никому неизвестных, живой ум и наблюдательность, а превыше всего — моральный облик этой замечательной женщины делает ее книгу событием первостепенной важности и крупным вкладом России в литературу современного мира.

Немалая заслуга книги в том, что каждое ее слово внушает ничем не ограниченное, неопровержимое доверие. Даже необходимых словесных предосторожностей, неизбежных в советских условиях, крайне немного. Правдивость автора не подлежит сомнению. Она гарантирована бесстрашием, необходимым для того, чтобы, живя в СССР, написать *такую* книгу. Доверие к ее словам усиливается отсутствием ненависти даже к самым жестоким и подлым своим угнетателям, даже к самым равнодушным к чужому горю подхалимам. В книге показано много человеческой низости, трусости и даже подлости, но автор

Надежда М а н д е л ь ш т а м. Воспоминания. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк 1970.

всегда ограничивается сухим перечнем фактов, говорящих самих за себя. Писательница никого не осуждает и в голосе ее нельзя уловить не только ненависти, но даже горечи. Самое большее, что она разрешает себе, — это поиронизировать над господствующим марксизмом, более всего ответственным за содеянное в России зло: «Государство — это самодовлеющая сила, которая лучше нас знает, что нам нужно. Когда все народы пойдут по нашему пути, они узнают, что свобода — это осознанная необходимость».

Н. Мандельштам не щадит ни Горького, ни Катаева, ни Фадеева, ни Ларису Рейснер — никого из тех, к кому на Западе выработалось часто незаслуженное благодушное отношение. Зато с благодарностью вспоминает она всех тех (а их оказалось неожиданно много), кто самоотверженно помогал Мандельштамам в их мытарствах, часто с риском для самих себя: Ахматову, Пастернаку, Бухарину, Харджиева, Зенкевича, Паустовского, Шкловского и, как это ни удивит многих, — Суркова, которому Н. Мандельштам протянула знаменитую «луковку» во спасение, рассказав эпизод, который, несомненно, смягчит суд истории над этим человеком.

В «Воспоминаниях» меньше говорится об Осипе Мандельштаме, чем можно было ожидать, вероятно, вследствие врожденной скромности автора, избегающего говорить о своем личном, даже если это «личное» — ее муж, один из великих поэтов в русской и мировой поэзии.

Больше всего Н. Мандельштам свидетельствует о советской России, о своем соучастии в испытаниях российского народа, об опыте человека, по-хейдеггеровски брошенного судьбой в кипящий котел революции.

Самое значительное в книге — не малоизвестные подробности жизни Мандельштама, не погружение в глубины его творческого процесса, увиденного скорее извне, чем угаданного изнутри. Страниц, посвященных Осипу Мандельштаму, сравнительно немного, его высказывания приводятся редко. Приведем все-таки его суждение об истории: «История есть проверка в действии и на опыте путей добра и зла. Мы проверили пути зла. Захотим ли мы на них возвращаться?» И другое — о ха-

рактере советского режима: «Они говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него надо строить, не для него».

Но, конечно, для всех исследователей жизни и творчества Осипа Мандельштама эта книга станет отныне необходимейшим и достовернейшим источником.

Главное же внимание автора направлено на поиски смысла происходящего в России и на подведение итогов полувековому владычеству партии. Надо признать, что в этом отношении книга Н. Мандельштам дает, может быть, больше, чем всё, что дошло до нас из написанного ныне в СССР. Советский опыт вырисовывается в новом и ярком свете. Размышления автора по его поводу ценны не только сами по себе, но и как могущественный стимул для нашего собственного мышления.

Многие мысли автора, хотя они часто сильно отличаются от общепринятых суждений как сторонников, так и противников КПСС, в основном удивительно подтверждают наши глубочайшие личные интуиции, рождающиеся в неведомых нам самим тайниках нашего «я» и за которые наше дневное сознание менее всего ответственно.

Автор идет намного дальше последних глав «Доктора Живаго» в раскрытии подспудной природы советской смуты, и выводы, сделанные этим компетентным, проницательным, беспристрастным свидетелем и участником событий, ценны для всякого человека, равнодушного к происходящему в современном мире.

Читая эту книгу, не только восхищаешься силой духа, умом и талантом автора, но и узнаешь о России так много, как, кажется, могло бы дать только длительное личное пребывание на месте. Н. Мандельштам показывает нам ту незримую Россию, единственно реально существующую, которая в присутствии любого недостаточно проверенного постороннего недоверчиво замолкает или ограничивается механическим повторением очередной официальной партийной шпаргалки.

Н. Мандельштам осмелилась открыто сказать миру то, о чем русский народ думает в своих глубинах в отсутствие непрощенных соглядатаев, хотя она всегда высказывает только свое

личное мнение. Возможно, она в чем-то ошибается или видит только одну сторону описываемых явлений. Впрочем, и сама она не претендует на непогрешимость, говоря только то, что думает, и описывая только то, что сама видела и пережила.

Но это именно и ценно — наконец услышать подлинный человеческий голос просто живого человека. Сдержанно правдивый тон ее рассказа намного убедительнее даже подлинных документов и плодотворнее каких угодно конкретных фактов, хотя и их в книге великое множество, и притом всегда показательных. На 400 страницах этой книги не найдешь ничего лишнего, — похвала, которую можно высказать лишь крайне немногим.

Приведем несколько примеров ее высказываний.

Основной двигатель мира, в котором Н. Мандельштам провела свою жизнь, — это «органы», вездесущие и беспощадные, хорошо известные каждому в России по личному опыту. Уже одно только огромное место, занимаемое ими в тамошней жизни, бесповоротно осуждает строй, который их создал и держится исключительно на них: «Мы жили в мире, где всех 'таскали туда'...».

Особенно ярко подмечены автором некоторые подробности, по которым Н. Мандельштам узнает людей «внутренней профессии»: «голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза».

С самого начала советского строя — «Всех охватило сознание, что возврата нет. Это чувство было обусловлено опытом прошлого, предчувствием будущего и гипнозом настоящего. Я утверждаю, что все мы, город в большей степени, чем деревня, находились в состоянии, близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье. Проповедь исторического детерминизма лишила нас воли и свободного суждения».

И дальше: «Все виды убийц, провокаторов, стукачей имели одну общую черту — они не представляли себе, что их жертвы когда-нибудь воскреснут и обрекут язык... Ведь нас убедили

(для автора это явно очень важно, и она постоянно это повторяет. — Э. Р.), что в нашей стране больше ничего никогда меняться не будет, а остальному миру надо только дойти до нашего состояния, то есть тоже вступить в новую эру, и тогда всякие перемены прекратятся навсегда... И поэтому в период реабилитаций они впали в настоящую панику: им показалось, будто время обратилось вспять, и те, кого они окрестили 'лагерной пылью', вдруг опять обрели имя и тело».

Характер наваждения всего советского строя, замеченный уже многими, ярко и метко выражен еще следующими словами Н. Мандельштам: «Такова была сила нашей организованности, что такие же люди, как мы, 'с глазами, вдолбленными в череп', рушили, вытапывали следы, убивали, уничтожали себе подобных, оправдывая все свои поступки 'исторической необходимостью'».

Проверенный жизнью патологический характер многих элементов марксизма выступает со все возрастающей несомненностью.

Не удивительно, что в таких условиях население было доведено до предельного отчаяния. Иначе невозможно объяснить неоднократно многими отмеченные слезы при известии о смерти главного виновника всех этих бед — Сталина. Вот что об этом говорит Н. Мандельштам: «Я еще присутствовала на траурных митингах, когда действительно все рыдали. Одна из курьерш объяснила мне: «Уж кой-как приспособились, живем, нас не трогают... А что сейчас будет!»

Сколько надо было причинить людям страданий, чтобы развить у них такой рефлекс зла, ожидание еще большего зла сверху даже после смерти Сталина!

Ведь в течение всего этого времени над страной царил террор без малейшего просвета: «Чтобы погрузить страну в состояние непрерывного страха, нужно довести количество жертв до астрономической цифры и на каждой лестнице очистить несколько квартир. Остальные жильцы дома, улицы, города, где прошла метла, будут до конца жизни образцовыми гражданами».

При этом «психологически всех толкал на капитуляцию страх остаться в одиночестве и в стороне от общего движения, да еще потребность в так называемом целостном и органическом мировоззрении, приложимом ко всем сторонам жизни, а также вера в прочность победы и в вечность победителей».

Тем не менее: «Не следует все-таки забывать новых поколений, которые не верят своим отцам, и планомерно возобновлять чистку... Но у сторонников террора всегда остается один просчет: всех убить нельзя и среди притаившейся, полубезумной толпы отыщется свидетель».

Поэтому внешнее благополучие строя обманчиво: «В эпохи насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренимы и никаким воспитанием их не уничтожить».

Такое наблюдение человека, прожившего полвека под советским гнетом, бесповоротно опровергает все жалкие рассказы КПСС о будто бы коренной перемене человеческой психики под влиянием партийного «воспитания».

Все эти затаенные «неискоренимые чувства» только ждут своего часа, который не может не наступить — раньше или позже. Но тогда они прорвутся с такой безудержной стихийной силой, что от «органов» и их подстрекателей не останется и следа.

В мирозерцание людей, принесших России и миру столько страданий, закралось непреодолимое противоречие, неизбежно ведущее их к гибели: «Люди, утверждавшие, что двигателем истории является «базис», экономический фактор, всей своей практикой доказали, что история — это развитие и воплощение идеи».

Важно также и то, что давно нам известные мысли о религиозном характере марксизма и о превращении науки в предмет обожения известны и разделяются интеллигенцией, живущей в СССР: «Это идея о том, что существует непреложная научная истина, и люди владеют ею... Эта религия — адепты скромно называли ее наукой — возводит человека, облеченного авторитетом, на уровень Бога. Она разработала свой символ веры и свою мораль... Но самое существенное — это полный отказ от сомнений и абсолютная вера в добытую наукой истину».

Раз в России поняли ложность этих истин, то этим самым рушится столп, на котором держится все здание власти КПСС: вера в превосходство советского строя над всеми остальными и в неизбежность его победы якобы на основании «неопровержимых» научных данных.

Раз в России знают, что это не так, — дни строя сочтены и он может держаться только голым насилием.

И вот действительно в последние годы бесчеловечная власть партии вздрогнула и зашаталась. Так, например, один старый партиец в Ленинграде «поведал мне, как педагогу, свои трудности. Пришел поторопить своих подопечных (студентов техникума. — Э. Р.) в день выборов — никто идти не хочет. Он говорит: «Вам надо с нас пример брать — мы революцию делали» и сообщает, что сам с раннего утра уже отголосовал... А ему отвечают: 'А кто вас просил революцию делать? Раньше лучше жилось...'».

И тут автор присоединяет свое свидетельство: «Где-то ценности жили подспудно, они бытовали в тиши замкнутых жилищ с притушенными огнями. Сейчас они в движении и набирают силу... Сейчас идет обратный процесс. Он удивительно медленный, и у нас не хватает терпения... Все пришло в движение. Мысль живет. Хранители огня прятались в затемненных щелях, но огонь не угас. Он есть».

Поэтому заключительный аккорд этой книги о жесточайших страданиях и издевательствах над одним из величайших людей России за все эти годы — мажорный: «Последняя победа всегда принадлежит добру, а не злу».

Отныне мы будем всегда вспоминать эту фразу в минуты колебания и нетерпения, потому что время всегда тянется медленно для тех, кто ожидает победы добра.

Эммануил Райс

ТРУД ОГРОМНЫЙ И НУЖНЫЙ

В издательстве Г. К. Холл и Ко. (Бостон, США) вышел недавно обширный и хорошо построенный справочник, касающийся творчества русских эмигрантских авторов, которое вот уже полстолетие неизменно замалчивается на их родине. Справочник составлен доктором филологических наук Людмилой А. Фостер и называется «Библиография русской зарубежной литературы 1918-1968».

Появление справочника, несомненно, связано с тем выросшим интересом к литературе русской эмиграции, который наблюдается сейчас в кругах славистов — исследователей и студентов — многих американских (и не только американских) университетов и колледжей. На происходившей в конце 1970 года в Нью-Йорке всеамериканской конференции профессоров и преподавателей славянских языков и литератур проблемы эмигрантской литературы были выделены в особую секцию, доклады на которой собрали необычно большую аудиторию. Такого рода секции намечены и для ряда педагогических конференций и собраний текущего, 1971, года, в США и Канаде.

Тем острее нужна была библиографическая ориентация в том огромном, разбросанном по библиотекам, частным коллекциям и архивам и в целом никем не систематизированном материале, который охвачен теперь справочником. Справочник этот будет интересен и советскому библиографу и читателю, от которого скрыты не только произведения, но и имена пишущих в зарубежье его соотечественников. В самом деле: более или менее полно этому читателю известен лишь один эмигрантский писатель — Иван Бунин. При жизни, однако, Бунин тяжело переживал, что его книги, написанные за границей, запретны в России. «О вас, Иван Алексеевич, будут там еще много писать!» — говорили ему утешители. — «Что будут писать? Вот вопрос?» — отвечал он.

Др. Людмила А. Фостер. Библиография русской зарубежной литературы, 1918-1968 гг., 2 тома. Изд-во G. K. Hall & Co., Boston, U. S. A. 1971.

О его сомнениях вспоминаешь невольно, перелистывая, например, десятый номер журнала «Москва» за 1970 год. Некий Галиат-Балаев поместил там заметку, посвященную столетию со дня рождения Бунина. «Большинство рассказов, написанных Буниным в эмиграции, — утверждает Балаев, — глубоко пессимистичны, обычно заканчиваются смертью героев: 'Митина любовь', 'Дело корнета Елагина', 'Солнечный удар'». Как известно, герой рассказа «Солнечный удар» вовсе не умирает, и отнести этот рассказ к числу «глубоко пессимистических» можно только, стремясь к пропагандной дезинформации читателя или по невежественности, всегда сопутствующей такого рода стремлению.

Но — вернемся к труду профессора Л. Фостер.

Напечатанный по-русски, этот двухтомный труд содержит 1374 страницы, помимо 57 страниц открывающей его «Методологии» (на английском и русском языках), которая объясняет принципы построения пособия и как им пользоваться. Страницы 92-1247 содержат алфавитный список авторов, писавших за рубежом в годы 1918-1986 художественную прозу (в том числе очерки и мемуары), стихи и работы литературно-критического характера, включая отдельные рецензии; приведен и перечень самих публикаций — материал огромный, и, листая его, трудно поверить, что только один человек — составитель — мог собрать и организовать всё это в форму справочного пособия.

Первичная «ячейка» списка — справка о творчестве каждого из авторов — со стороны библиографической продумана и выглядит так: к фамилии, как правило, дается имя-отчество, расшифровывается псевдоним; указываются даты рождения и, в отдельных случаях, источники более обширных биографических сведений. Перечень произведений разбит на группы по жанрам, а внутри каждой группы расположен в хронологическом порядке. С помощью условных сокращений и помет сообщаются характер, место и время опубликования; приводятся повторные публикации (в том числе и с измененными автором заголовками); к сборникам даются заглавия содержащихся в них вещей. Специальный, вынесенный на поля, шифр указы-

вает хранилище, где находится книга, или источник сведений, полученных о ней составителем.

Далее, на страницах 1338-1372, помещен «Жанровый указатель для воспоминаний и критики» (точнее было бы назвать: указатель тематический). Здесь: «Воспоминания писателей, и о писателях», «Воспоминания художественных деятелей, и воспоминания о них, а также о театре», «Воспоминания о революции и гражданской войне» и т. п. В части критики: «Критика о дореволюционной литературе», «Критика о советской литературе» и т. д. Всего таких справочных рубрик — 16. Тематическая систематизация этого обширнейшего печатного материала доставила, вероятно, составителю немало трудностей и головоломок в части отнесения публикации к тому или иному разделу. Так, скажем, рубрики «Воспоминания общего характера» и «Воспоминания о дореволюционной России» неизбежно должны были во многом совпадать по содержанию (см., например, повторенный в обеих «Сборник воспоминаний пажей»), и, может быть, стоило бы подумать об их более четком тематическом членении; иное отнесение может казаться спорным, кое-что из обозначений-заглавий неясным — таков, например, на стр. 1368 словно бы заблудившийся заголовок «Тарсис и эмиграция» или на стр. 1356: «Работы о переводах», за чем следует перечень сборников переводной поэзии, к критике непосредственно не относящихся. Мелочи эти, однако, не умаляют полезности такого трудоемкого включенного в справочник отдела.

Если тем не менее, по принятой в рецензиях традиции, перечислять «огрехи», то нужно с удовлетворением отметить, что они касаются больше пунктов внешних, легко исправимых, чем построения пособия и его полноты; по крайней мере последнее двадцатилетие литературного творчества эмиграции, насколько можно судить при беглом просмотре, представлено исчерпывающе; обозреваемое же полустолетие в целом таит, вероятно, еще ряд неотмеченных публикаций. «...По понятным причинам, — пишет в предисловии составитель, — стопроцентная полнота была недостижима, несмотря на самые добросовестные мои старания и сотрудничество со многими осведомленными людьми. Я буду благодарна пользующимся этим пособием за всякое сообщение о

пропущенном». Такого рода сообщения, полученные уже во время печатания книги, составили помещенные в конце второго тома «Добавления». Специальное издание добавлений, вместе с перечнем публикаций, вышедших уже после 1968 года, составитель намерен осуществить в 1974 году.

Относительно полноты самих первичных «ячеек» можно сказать следующее: будь в распоряжении составителя хотя бы небольшой секретариат, удалось бы, вероятно, избежать некоторых нерасшифрованных псевдонимов, вопросительных знаков и неточностей — по крайней мере в отношении здравствующих еще авторов, с которыми возможна переписка. Так, например, приведенный на стр. 828 «Новоселов, Д.» — это псевдоним Родиона Березова; в справке о самом Березове пометка — «без указания места» — к его книге «Что было?» (стр. 233) ошибочна, так как в действительности на обложке книги стоит «Сан-Франциско»; также можно было избежать неуверенного: «быть может, Германия?» к сборнику В. Свена «Рувим, сын Давидов» (стр. 977) и т. д.

Желательным расширением содержания «ячеек» алфавитного списка были бы, конечно, данные о переводах произведений эмигрантских авторов на иностранные языки, — данные, особенно важные для нерусского пользователя Библиографии.

Прочие промахи — технического главным образом характера: можно встретить иногда нарушение алфавитного порядка центрального списка (Иван Тхоржевский, например, идет после Тырковой-Вильямс); где-то что-то пропущено, неправильно прочтено или неправильно напечатано — опечаток в двух томах предостаточно, но не больше средней для многих эмигрантских типографий нормы; есть опечатки и «семантические»: очерк М. Корякова, например, в «Новом журнале» называется на самом деле «Море и тайга», а не «Море и тайна» и т. п.

Но все это второстепенно по сравнению с завершенным профессором Л. Фостер целым — пособием, недооценивать значение которого нелегко. Всякий занимающийся историей эмигрантской литературы, либо выбравший для себя монографическую или сравнительную в этой области тему, нуждающийся, наконец, в справке по части многочисленных критических или

мемуарных работ эмигрантских литературоведов, поэтов и прозаиков уже не беспомощен больше в подступах к своему заданию: справочный, и очень богатый, материал, собранный и систематизированный в Библиографии, теперь в его распоряжении.

Л. Ржевский

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

А н а т о л и й, А. (Кузнецов). Бабий Яр. Роман-документ. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1970. Стр. 488.

В ы ш е с л а в ц е в, Б. П., проф. (Б. П е т р о в). Философская нищета марксизма. Изд. третье, «Посев». Франкфурт/М. 1970. Стр. 247.

Г и н з б у р г, Евгения. Крутой маршрут. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1971. Стр. 434.

К о б ы л и н, В. Император Николай II и генерал-адъютант М. В. Алексеев. Всеславянское Издательство, Нью-Йорк. 1970. Стр. 440+2 вкл.

К у з н е ц о в — см. А н а т о л и й.

Н а д е ж д и н а, Леля. Часы. Стихотворения. Афины 1970. Стр. 31.

Н а д е ж д и н а, Леля. Стихотворения. [Без обозначения времени и места выпуска. Стр. 44 нумер.]

П р о ц е с с ц е п н о й р е а к ц и и. Сборник документов по делу Ю. Т. Галанскова, А. И. Гинзбурга, А. А. Добровольского, В. И. Лашковой. Составил Г. Е. Брудерер. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1971. Стр. 488+4 вкл. л. фото.

Ш а х о в с к а я, Зинаида. Перед сном. Париж 1970. Стр. 62.

Ш е р, Яков. Куда идти? (Книга для тех, кто хочет изменить мир). Париж 1971. Стр. 254.

Ш и л я е в а, Ариадна. Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. Изд. Русского книжного дела «Волга», Нью-Йорк 1971. Стр. 175.

B r a u t i g a n, Richard. In Wassermelonen Zucker. Carl Hanser Verlag, München 1970. SS. 142.

Brügger, Paul, Dr. Individuum und Gesellschaft im Urheberrecht. Dialektische Auseinandersetzung mit der Urheberrechtslage im ideologisch gespaltenen Europa. Verlag für Recht und Gesellschaft, Basel 1970. SS. XXII + 147.

[Ebert, Theodor, Herausgeber]. Ziviler Widerstand. Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf 1970. SS. 322.

Guerilleros, Partisanen. Theorie und Praxis. Eingeleitet und herausgegeben von Joachim Schickel. Carl Hanser Verlag, München 1970. SS. 222.

Kirsch, Botho. Sturm über Eurasien. Moskau und Peking im Kampf um die Weltherrschaft. Seewald Verlag, Stuttgart 1970. SS. 286.

Knaak, Lothar. Trotz — Protest — Rebellion. Uniform und Bedeutung des Nestzerstörungstrieb. Strom-Verlag, Zürich 1971. SS. 211.

Morozow, Michael. Das sowjetische Establishment. Seewald Verlag, Stuttgart 1971. SS. 198.

Prawossudowitsch, Olga. Die Deutschen in sowjetischen Kinderzeitschriften. Hohwacht-Verlag, Bonn — Bad Godesberg 1971. SS. 85.

Rendtorff, Trutz. Christentum zwischen Revolution und Restauration. Politische Wirkungen neuzeitlicher Theologie. Claudius Verlag, München 1970. SS. 138.

Sager, Peter. Die technologische Lücke zwischen Ost und West. Schweizerisches Ost-Institut, Bern 1971. SS. 88.

Schickel, J. — s. Guerilleros.

[Schmidt, Wilhelm, Herausgeber]. Gesellschaftliche Herausforderung des Christentums. Von Kulturprotestantismus zur Theologie der Revolution. Eine Senderreihe des Deutschlandfunks. Claudius Verlag, München 1970. SS. 138.

Solschenizyn, Alexander. Vor der Verantwortung des Schriftstellers. Herausgegeben und eingeleitet von Felix Philip Ingold. Verlag Die Arche, Zürich:

Bd. I 1969, SS. 48

Bd. II 1970, SS. 62.

Stojanović, Svetozar. Kritik und Zukunft des Sozialismus. Carl Hanser Verlag, München 1970. SS. 222.

БИБЛИОГРАФИЯ

Struve, Gleb. Russian Literature under Lenin and Stalin. 1917-1953. University of Oklahoma Press, Norman 1971. Pp. XVI + 454.

Thayer, George. War Business. Geschäfte mit Waffen und Krieg. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1970. SS. 388.

Theodorowitsch, Nadeshda. Religion und Atheismus in der UdSSR. Dokumente und Berichte. Claudius Verlag, München 1970. SS. 328.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

в № 69 журнала

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
92	12 сверху	конвою	к конвою
94	7 сверху	через три дня	дня через три
96	19 сверху	на готове	на готовое

в № 79 журнала

13	4 сверху	дал полный ход всему	дал полный всему
16	16 снизу	принятым	приятным
254	внизу страницы	Пропущены: редакция и адрес.	

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,
Flurscheideweg 15**

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране. При этом мы, естественно, не пытаемся заручиться формальным разрешением автора на такие публикации.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**P o s s e v - Verlag,
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.**

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»

Содержание номеров журнала «Г р а н и» помещено:

с № 1 по № 58 в № 59

с № 52 по № 74 в № 74

с № 75 по № 78 в № 78

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

НЕЗАВИСИМЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Во Франции: 10 номеров — 70 фр.; 5 номеров — 37 фр.
За границей: 10 номеров — 17 ам. дол., или 94 фр. фр.;
5 номеров — 9 ам. дол., или 50 фр. фр.

Цена в розничной продаже: во Франции — 8 фр. фр.;
за границей — 2 ам. дол., или 11 фр. фр.

Подписную плату направлять по адресу: с/o Mr. Serge
Obolensky, Chemin de la Côte-du-Moulin. L'Etang-la-Ville,
78 — France, с пометкой «для Возрождения».

После многочисленных просьб
издательство «ПОСЕВ» возобновило
издание своего еженедельного календаря.

Отрывной Календарь на 1972 год

Богато иллюстрированный еженедельный календарь на
меловой бумаге; репродукции старинных гравюр итальянских художников, картин известных русских художников и т. д. Святцы.

Цена, включая пересылку простой почтой, — 10.00 н. м.
Календарь можно купить при церквях, в книжных магазинах или непосредственно в издательстве

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

«КАЗНИМЫЕ СУМАСШЕСТВИЕМ»

Сборник документов по преследованию инакомыслящих в СССР путем заключения их в психотюрьмы. Составители: А. Артемова, Л. Рар, М. Славинский. Сборник содержит четыре раздела: «дела» 35 жертв антимедицины (среди них В. Буковский, Ю. Вишневская, Ю. Галансков, Н. Горбаневская, П. Григоренко, А. Есенин-Вольпин, Ю. Мальцев, Ж. Медведев, М. Нарича, И. Рипс, В. Тарсис, И. Яхимович); свидетельства о «дурдомах» бывших заключенных и находящихся в них ныне; сторонние свидетельства; приложения (среди них — список и состав фармакологических средств, применяемых к заключенным. В книге 508 стр.; карманный формат. Обложка работы худ. Р. М.

Цена 19.80 н. м. В США и Канаде — 6.60 ам. дол.

Георгий Мейер

«У ИСТОКОВ РЕВОЛЮЦИИ»

Сборник публицистических статей: «Поруганное чудо. У истоков революции. Достоевский и всероссийская катастрофа. Интервенция и гипноз революции. Дедушка русской революции. «Возрождение» и Белая Идея. Герои Пруткова и пассивность эмиграции. Отрывок». В книге 256 стр.; большой формат; мягкий переплет.

Цена 18.00 н. м. В США и Канаде — 6.00 ам. дол.

Роман Редлих

«СТАЛИНЩИНА КАК ДУХОВНЫЙ ФЕНОМЕН»

Второе исправленное и дополненное издание книги «Очерки большевизмоведения. Книга I-ая: «Сталинские мифы и фикции. Советский язык. Нравственный облик сталинизма. Советский человек». В книге 250 стр.; карманный формат. Обложка работы Л. Гл. Скуратовой.

Цена 11.80 н. м. В США и Канаде — 4.00 ам. дол.

«ПРОЦЕСС ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ»

Сборник документов по делу Ю. Т. Галанскова, А. И. Гинзбурга, А. А. Добровольского, В. И. Лашковой. Составил Г. Е. Брудерер. В книге содержатся биографии обвиняемых, история демонстрации 22. 1. 67 г., запись процесса и отклики на него в советской и западной печати. В книге 488 стр.; карманный формат. Обложка работы худ. А. Русака.

Цена 18.80 н. м. В США и Канаде — 6.50 ам. дол.